

Фрида Михельсон

Я ПЕРЕЖИЛА РУМБУЛУ

Третье издание

МОСКВА-РИГА 2010

УДК 94(4)+929
М 696

«РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХОЛОКОСТА»

Печатается по изданию:

Фрида Михельсон. Я ПЕРЕЖИЛА РУМБУЛУ.
Второе издание. Рига, 2005

Литературная запись, перевод с идиша и предисловие

Давида Зильбермана.

Вступительная статья профессора *Андриевса Эзергайлуса.*

Предисловие *Кирилла Фефермана* и *Леонида Териушкина.*

Составление и комментарии доктора истории *Григория Смириня*

Фотографии из собрания Музея «Евреи в Латвии»

Тираж 2000 экз.

М 696 Михельсон Ф. «Я пережила Румбулу». — М.: Полимед, 2010. — 160 с.

Фрида Зеликовна Михельсон (1906—1986). Родилась в Лифляндской губернии (ныне Латвия). Жила в Вараклянах, в 1930-е гг. поселилась в Риге, работала портнихой-модисткой. В 1941 г. — узница Рижского гетто. Удалось спастись во время расстрела в Румбуле в декабре 1941 г. Скрывалась до возвращения советских войск осенью 1944 г. Вплоть до 1971 г. жила в Риге, затем — в Израиле. Воспоминания о трагическом пути узницы были записаны в 1965—1967 гг. Впервые изданы в Израиле в 1973 г. В Латвии на русском языке издавались в 2005 г.

© D. Silberman, 1973, 2005, 2011

© В. Бродский, дизайн обложки, 2011

ISBN 5-88832019-6

ПОВЕСТЬ ФРИДЫ МИХЕЛЬСОН

Вступительная статья

Рижанка Фрида Михельсон (урожд. Фрид), которую соплеменники, возможно, помнят как молодую портниху-модистку в 30-е годы, выжила и будет жить вечно. Фрида — редкая свидетельница ужасного времени в нашем прошлом, когда на латвийской земле было убито больше людей, чем когда бы то ни было в нашей кровавой истории. Она восстала с поля смерти в Румбуле¹ и выжила, и это был лишь первый раз, когда ее жизнь висела на волоске. Она не только выжила, она написала об этом книгу, которая будет жить, — «Я пережила Румбулу» (*I Survived Rumbuli. N.Y.: Holocaust Library, 1979*).

Книга Фриды охватывает пережитое ею начиная с немецкого вторжения в Латвию и кончая ее освобождением осенью 1944 года.

Было бы мало сказать, что Фриду спасло чудо. Ее способность выжить имела много общего с ее верой. Фрида не была слишком религиозной, однако верила, что Бог раз за разом ее спасает, чтобы она оставила свидетельство о страданиях ее народа. Это Божье мановение она более чем исполнила, ибо, помимо судьбы евреев, она дает глубоко интимный взгляд на наш народ, информацию, о которой мы, если нас не вынуждает суд, рассказываем неохотно. Ни один латыш ничего подобного о немецком времени не написал. С историко-документальной точки зрения с книгой Фриды эвентуально могли бы состязаться мемуары Арайса² о том, как он попал на службу в СС и как

1 См. примечание 1 на с. 9.

2 Арайс Виктор (1910—1988) — военный преступник, штурмбанфюрер (майор) СС (1942). Под его командованием в 1941—1944 годах

он организовывал латышских парней для расстрела евреев. Но это была бы другая книга, чисто фактологическая, без значения носителя веры.

Изложение книги я начну не со всех тех предчувствий латвийских евреев, которые им внушали гитлеровские полчища, и не с такого рода антиеврейской агитации, которую Фрида испытала сразу же после прихода немцев в Вараклянах¹, — начну с великого чуда в Румбуле. 7 декабря 1941 года² во время второго марша Фрида и сотни других ее соплеменников были уведены из Рижского гетто в Румбулу, подгоняемые, наверное, большей частью латышскими окриками: “*Ātrāk! Ātrāk!*”³ — в расстрельный ров, когда вблизи уже звучал лязг оружия. Всех согнанных заставили раздеться — сбросить пальто и верхнюю одежду, до нижнего белья.

— *Ātrāk! Ātrāk!*

Великий страх испытала Фрида, когда упала в снег и притворилась убитой.

«...Женщина... бросила мне на спину какой-то предмет, затем второй. ...Предметы падают один за другим, я понимаю, что это падает обувь. Вскоре я покрываюсь целой горой ботинок, валенок, бот. <...>

Люди горько рыдают, прощаются друг с другом, и тысячами все бегут и бегут в пропасть. Пулеметы непрерывно стрекочут, а шутцманы все орут и гонят: «Быстрее! Быстрее!», — дубасят дубинками, нагайками. Так длится много часов. Наконец, стихают крики, прекращается бег, смолкает стрельба. Доносятся где-то рядом из глубины звуки, как при работе лопатами, — это, должно быть, закапывают расстрелянных.

латышское вспомогательное подразделение немецкой полиции безопасности и СС “*Sonderkommando Arajis*” участвовало в акциях массового убийства гражданского населения в Латвии, Литве, Польше, Белоруссии, на Украине. В 1979 году осужден в Германии на пожизненное заключение. Умер в тюрьме (подробнее см.: Эзергайлис А. Команда Арайса // ВЕК (Вестник еврейской культуры). 1990. № 1/2. С. 34—42).

1 См. примечание 1 на с. 23.

2 Формирование колонн для второй крупной акции уничтожения узников Рижского гетто, из которой спаслась Фрида Михельсон, началось 7 декабря, сама акция произошла 8 декабря 1941 года.

3 Быстрее! Быстрее! (*латыш.*).

Русские голоса их подгоняют, торопят работать быстрее. Вероятно, для этой работы пригнали советских военнопленных. После, наверное, и их самих расстреляют.

Меня давит гора обуви, все тело онемело из-за холода и неподвижности, но я — в полном сознании. От тепла моего тела снег подо мной растаял, и я лежу в луже. <...>

Вдруг доносятся довольные голоса латышей:

— Закурим! Хе-хе! <...>

Теперь слышу совсем близко по-немецки:

— *Was suchst du dort?*¹

— *Ein Paar Strumpfe für meine Frau*². <...>

Вдруг неподалеку в стороне от ямы тишину пререзал детский плач и крики:

— Мама! Мама!

Раздались беспорядочные одиночные выстрелы. Плач ребенка смолк. Убили. Опять тишина. <...>

— Из нашего котла никто не выходит живым».

Фрида убежала. Когда все стихло и стемнело, она вылезла из груды, нашла сухую одежду, зашла в лес и стала искать помощь у крестьян. В первую ночь ей посчастливилось — две старушки ее накормили и позволили остаться на сеновале, но под вечер второго дня пришлось уйти. Так, еще скрываясь и получая ночлег там и сям, она, наконец, оказалась на хуторе у Берзиньшей, который затем служил ей первые месяцы неким якорем, чтобы приютиться. Тогда Фрида попытала счастья в Риге, где было легче раствориться в людской толпе. Она обошла всех своих нееврейских друзей. Хотя никто ее не выдал, никакого постоянного обиталища она не нашла, лишь один офицер времен Ульманиса³, работавший в то время управдомом, позволил ей находиться в какой-то пустой неотопливаемой квартире. По возвращении к Берзиньшам ей посчастливилось: Берзиньш посоветовал ей идти к Песле — старушке с помутненным Богом рассудком, адвентистке седьмого дня⁴, которая жила в какой-то лачужке в Чиекуркалнсе⁵.

1 Что ты там ищешь? (*нем.*).

2 Пару чулок для своей жены (*нем.*).

3 Имеется в виду период после 15 мая 1934 г., когда в Латвии латышским национально-консервативными силами под руководством Карла Ульманиса (1877—1942) был совершен антиконституционный государственный переворот и установлен этнократический авторитарный режим.

4 См. примечание 1 на с. 96

5 См. примечание 2 на с. 96

«Когда она спросит тебя, кто ты, говори, что тебя к ней послали небесные ангелы, чтобы помочь ей. Я думаю, она поверит и впустит. А когда кончатся продукты, приходи к нам снова, мы всегда наполним твою корзиночку...»

Так и случилось. Жизнь у Песлы явилась крупным поворотом главным образом потому, что с помощью Песлы Фрида установила связь с адвентистами седьмого дня. Их, по большей части прибалтийских немцев, радением Фрида пережила годы оккупации. Главное свое обиталище она нашла у семейства кекавского¹ мельника Вилюмсона.

Что позволило Фриде спастись? Можно назвать несколько обстоятельств: прежде всего это было портняжное мастерство, затем совершенное владение латышским языком и фортуна. Никто из живущих в городе светски настроенных латышей, даже если и помог хоть чуть-чуть, не был ее великим спасителем. Берзиньшей соседи считали левыми, брат хозяйки вступил в Красную армию, а брат хозяина после прихода немцев был арестован и, наверное, расстрелян. Помимо Фриды Берзиньши скрывали также русских пленных. Песла была сама по себе. Вилюмсоны — адвентисты с особыми симпатиями к избранному Богом детям Израиля. После знакомства с Фридой Генрих, младший сын Вилюмсонов, сказал родителям:

«Это же Божья воля, чтоб она жила. Если мы ее не спасем, то вся наша семья совершит тяжкий грех».

После выхода на волю Фрида Фрид в 1944 году вышла замуж за Мотю Михельсона, одного из 85 выживших из Рижского гетто, и в семье родились сыновья — Лева и Даня. Но при коммунистах Михельсонам не везло. С возрастом после войны сталинского антисемитизма муж был обвинен в антигосударственной деятельности и выслан в Сибирь. В 1956 году освобожден, но из-за подорванного здоровья умер в 1966 году. Фрида с сыновьями в 1971 году переехала в Израиль.

Литература о Холокосте накопилась уже в большом количестве и продолжает прирастать. Во всей этой горе книг воспоминания Фриды могут и затеряться, но они никогда не исчезнут с полки истории Латвии. Это латышская книга, она о латвийских лесах и людях, и о Риге, песчано-лесистом устье Даугавы,

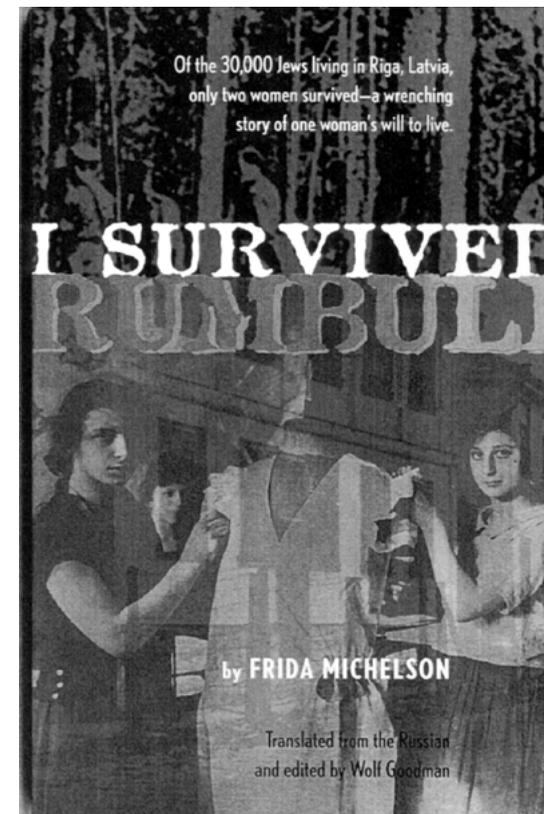
¹ Кекава — поселок в тогдашнем Рижском уезде.

сакте¹ Латвии. Эта книга будет воспринята не только как носитель исторического свидетельства — это исполненное чудес подтверждение веры, вдохновляющее в своей основе произведение.

Переведем же эту книгу на латышский язык и распространим в наших школах, чтобы племя младое расспрашивало и переспрашивало своих родителей и прародителей и побуждало их тоже оставить свои воспоминания об этом суровом этапе в нашем прошлом. И если кто-нибудь из страха перед судом или отмщением побоится написать в своих воспоминаниях всю правду, то в своих теплых жилищах в эмиграции перечитаем книгу Фриды и сопоставим наши страхи, со страхом, который пережила она.

Конечно, эта книга задает жгуче-безжалостные вопросы — заставляет переосмыслить нашу латышскость, наше секулярное, безбожное хождение в церковь. Разве мы, оказавшиеся в тупике, можем, полагаясь на свой модернизм, творить правое дело?

Ничто и никогда не поздно — воздвигнем Фриде, этой носительнице латвийского паспорта, памятник, ибо сегодняшние



Американское издание книги Фриды Михельсон «Я пережила Румбулу». Нью-Йорк, 1979 г. Обложка.

¹ Латыш. *sakta* — фибула (археол.), украшение в виде пряжки или застежки.

правители Латвии слишком антисемитские¹, чтобы сделать это. Воспользуемся своими внутренними талантами — построим мысленно арку, с которой эту статую эвентуально можно было бы перевезти в свободную Латвию и поместить в усаженную цветами пляду наших мучеников и героев. Если нам не захочется сделать это ради Фриды, то мы должны это сделать, чтобы воздать должное Берзиньшам, Песле и Вилюмсонам.

Андриевс Эзергайлис²
*Jaunā Gaita*³ (Hamilton, Ont.). 1985. Nr. 3. 47.—48. lpp.
 Перевод с латышского.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Фрида Михельсон в Румбуле после войны

После кровавых расправ над еврейским населением Риги в конце ноября — начале декабря 1941 года на месте массовых расстрелов у ям Румбульского леса¹ в живых чудом остались две еврейские женщины — Фрида Михельсон (урожд. Фрид) и Элла Медалье (урожд. Гутман)².

Как явствует из свидетельств Михельсон и Медалье, после этой кровавой рижской бойни, когда в течение нескольких страшных дней погибло свыше 30 тысяч человек³, на месте акции кроме них уце-

- 1 Имеется в виду руководство Советской Латвии.
- 2 Эзергайлис Андриевс (р. 1930) — американский историк латышского происхождения, профессор Итакского колледжа (Нью-Йорк), иностранный член Латвийской академии наук. Исследования по истории революции 1917 года и периоду нацистской оккупации в Латвии, в том числе монография «Холокост в Латвии. Отсутствующий центр, 1941—1944» (*Ezergailis A. The Holocaust in Latvia, 1941—1944: A missing center. Riga, [1996]*). В дополненном переводе на латышский язык этот труд вышел под названием «Холокост в оккупированной немцами Латвии, 1941—1944» (*Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā, 1941—1944. R., 1999*).
- 3 “*Jaunā Gaita*” («Новая поступь») — латышский иллюстрированный журнал в диаспоре, выходит с 1955 года, с 1958 года — в Канаде.

- 1 Румбула — небольшая железнодорожная станция на линии Рига—Даугавпилс, в 12 км от станции Рига, или примерно в 10 км от ворот Рижского гетто. На пригорке, в 250 м от станции, в лесу, нацистами было выбрано место для убийства узников гетто. В песчаном грунте, что позволяло легко это сделать зимой, были вырыты ямы.
- 2 Как и Фрида Михельсон, Элла Медалье оставила воспоминания (см.: *Медалье Э. Право на жизнь. Рига, 2006; 2-е издание М., 2011*). Ее показания так же фигурировали на ряде процессов над нацистскими военными преступниками.
- 3 Число расстрелянных в Румбуле в дни крупных акций уничтожения 30 ноября и 8 декабря 1941 года в действительности было меньшим: согласно отчету начальника полиции безопасности и СД в Латвии Р. Ланге, — 27 800 человек (вместе с 942 евреями, привезенными



Фрида Михельсон с сыновьями Львом и Даниелем. 1959 г.

Отсюда понятен интерес к записям воспоминаний Фриды Михельсон как к документальным свидетельским показаниям.

Уже в ноябре 1944 года, вскоре после освобождения Риги, Фрида Михельсон (тогда Фрид) давала свои показания Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию фашистских злодеяний на временно оккупированной немцами территории Латвии с 1941 по 1944 год¹. Эти же по-

из Германии и расстрелянными 30 ноября 1941 года). Кроме того, там были расстреляны использовавшиеся на «земляных работах» около 300 советских военнопленных. Число убитых в Румбуле евреев из Рижского гетто в те дни современными историками оценивается примерно в 25 тысяч. Расстрелы отдельных групп людей продолжались там и в последующий период нацистской оккупации.

1 Имеется в виду Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК) по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР; была образована 2 ноября 1942 года. В комиссию входили партийные функционеры Н. М. Шверник (председатель) и А. А. Жданов, академики Н. Н. Бурденко, Б. Е. Веденеев, Т. Д. Лысенко, Е. В. Тарле, И. П. Трайнин, митрополит Киевский и Галицкий Николай, писатель А. Н. Толстой, летчица В. С. Гризодубова. В местах, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, создавались комиссии содействия ЧГК. Комиссия собрала огромное количество документаль-

лело еще четверо: неизвестный паренек, о котором упоминает в своих воспоминаниях Михельсон, и три женщины. Однако все они впоследствии погибли.

Таким образом, о чудовищной картине расправы нацистов над беззащитным мирным еврейским населением Риги в Румбульском лесу нам стало известно благодаря этим двум очевидцам-мученицам.

казания Михельсон в числе других данных комиссии были выдвинуты трибуналом в качестве свидетельств обвинения на процессе гитлеровских военных преступников, состоявшемся в Риге в 1946 году, вскоре после окончания войны. Они также фигурируют и в материалах Нюрнбергского процесса над главными нацистскими военными преступниками¹.



Фрида Михельсон с сыном Даниелем. Фото 1979 г.

ных и вещественных доказательств, которые сыграли важную роль в разоблачении главных военных преступников в Международном военном трибунале в Нюрнберге и на других судебных процессах (см., напр.: Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. [М.], 1946). Республиканская Чрезвычайная комиссия при Совете министров Латвийской ССР действовала с 23 августа 1944 года по 27 июля 1946 года. Ее возглавлял лично первый секретарь ЦК Компартии Латвии Я. Э. Калнберзин. На местах республиканская комиссия образовала 5562 следственные комиссии, в которых были задействованы около 50 тыс. человек. До наступления периода гласности в СССР архивы комиссии находились на секретном хранении; после их открытия обнаружилось, что они содержат колоссальный массив информации. Материалы Республиканской Чрезвычайной комиссии фигурировали, в частности, на процессе 1946 года в Риге (см.: Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Рига, 1946).

1 Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 — 1 октября 1946 года) — судебный процесс над главными нацистскими военными преступниками (суду были преданы 24 преступника, входивших в правящую клику фашистской Германии); проводился в Нюрнберге (Германия) в Международном военном трибунале, который был создан в соответствии с московской Декларацией об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства от 30 октября 1943 года (СССР, США и Великобритания) и Соглашением между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран «оси» (т. е. Германии и ее союзников) от 8 августа 1945 года (соглашение содержало принципы Устава Международного военного трибунала). Подсудимым наряду с обвинениями в преступлениях

Некоторые журналисты и писатели, заинтересовавшись важными показаниями Фриды Михельсон о годах оккупации и необычайной историей ее спасения, подробно описали их еще с 1945 года, однако ни одно из этих произведений, к сожалению, не было опубликовано.

В августе и декабре 1962 года рижская радиостанция передала на латышском языке инсценировку новеллы «Звезда Давида»¹, которую написал журналист Бриедис по мотивам воспоминаний Фриды Михельсон².

Эта передача вызвала большой интерес и была воспроизведена дважды и на русском языке в феврале 1963 года.

Записанная на магнитофонную ленту новелла «Звезда Давида» звучала в апреле 1965 года суровым обвинением на

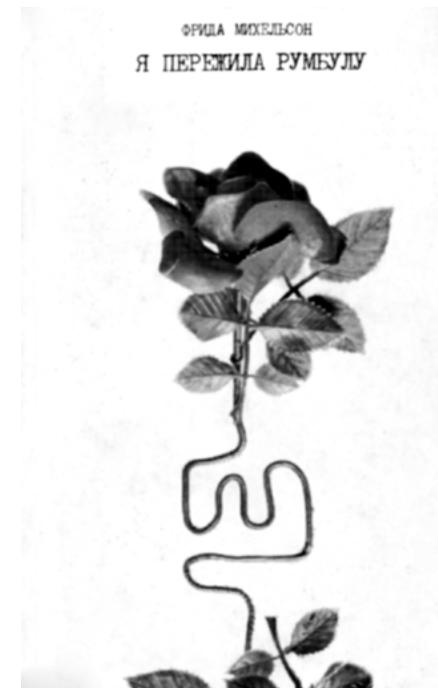
против мира и военных преступлениях были также предъявлены обвинения в преступлениях против человечности: в истреблении, порабощении, высылках и других жестокостях, совершенных против гражданского населения по политическим, расовым или религиозным мотивам. Трибунал объявил преступными организации германского фашизма: гестапо (нем. *Gestapo* — сокр. от *Geheime Staatspolizei* — осударственная тайная полиция); СС (нем. *SS* — сокр. от *Schutzstaffeln* — охранные отряды, главная террористическая организация нацистов в Германии и на оккупированных территориях); СД (нем. *SD* — сокр. от *Sicherheitsdienst* — служба безопасности) — служба разведки и контрразведки СС; руководящий состав нацистской партии. Были разоблачены сущность нацизма (германского фашизма) и его планы уничтожения целых народов, опасность возрождения фашизма в любой его форме для всего человечества. Подробнее об этом см., напр.: Нюрнбергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. М., 1987—1991; Полторак А. И. Нюрнбергский эпилог. 3-е изд. М., 1983.

1 Звезда Давида (*др.-евр.* маген-Давид — букв. «щит Давида») — шестиконечная звезда, древний орнаментальный элемент. Впервые в качестве универсального еврейского символа стала использоваться в XIV веке в Праге, когда местной еврейской общине была пожалована привилегия иметь свой флаг; широкое распространение в этом качестве получила в XIX веке. Желтый цвет звезды заимствован у пресловутой желтой повязки — одного из отличительных знаков, к ношению которых принуждали евреев для выделения их из среды остального населения начиная с VIII века в странах ислама, а затем в Европе в Средние века и в Новое время, вплоть до XVIII века.

2 См. приложение на с. 156-163

рижском митинге протеста против принятия в Западной Германии закона о «сроке давности»¹.

Фрида Михельсон в дни годовщин гибели евреев-жертв нацизма часто выступала на многолюдных собраниях



Израильское издание книги воспоминаний Фриды Михельсон. 1973 г. Обложка.



Обложка рижского издания книги. 2005 г.

в Румбульском лесу у могил павших.

В течение долгого времени многие обращались к Фриде Михельсон с просьбой систематизировать и записать ее многочисленные показания о гитлеровских зверствах и других фактах, относящихся к периоду оккупации, особенно о героизме людей, не согнувшихся

1 Речь идет о предпринятых в 60-е годы попытках некоторых политических кругов в ряде стран Запада пересмотреть законодательство о преступлениях против человечества и применить к ним принцип истечения срока давности. В этой связи Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1968 году Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.



Фрида Михельсон с мужем Мордехаем и сыновьями Львом и Даниелем. Фото 60-х гг.

перед фашистским террором и протянувших ей руку спасения, а также о ее собственном пути от смерти к жизни. Но в силу тех или иных обстоятельств добрые намерения не реализовывались все эти годы.

И лишь в 1965 году она, наконец, систематизировала свои старые заметки и написала на еврейском языке несколько тетрадей воспоминаний, которые были несколько дополнены ее ныне покойным мужем Мордехаем Михельсоном, также пережившим ужасы гетто и концлагерей. Из этих документальных записок я составил настоящую книгу.

*Д. С. Зильберман,
Рига, 1967 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗРАИЛЬСКОМУ ИЗДАНИЮ

Прошло пять лет с тех пор, как мы с Фридой Михельсон завершили работу над книгой, о которой она мечтала все годы после войны.

Но книга эта так и не увидела свет в СССР. Ее перепечатывали от руки и читали во многих городах Советского Союза, и на зажгла немало еврейских сердец, чье ощущение боли перешло в чувство ответственности за судьбу нашего народа, пережившего страшную Катастрофу.

В конце 1971 года Фрида Михельсон приехала со своими сыновьями в Израиль, тем самым как бы завершив круг своих странствий и поисков жизненных путей.

Несмотря на все пережитое, Фрида Михельсон сохранила оптимизм, волю к жизни и горячее желание стать органической частью своего народа на своей земле. Пусть эта правдивая книга найдет дорогу к сердцу читателей, к сердцу всех тех, кому дорог еврейский народ, его прошлое, настоящее и будущее

*Давид Зильберман,
Хайфа, 1972 год*

ПРЕДИСЛОВИЕ К РОССИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Эту книгу можно назвать обычной и в то же время уникальной. Обычной потому, что тема Холокоста многим людям уже «набила оскомину», потому что документов той эпохи много. А уникальной потому, что для миллионов современных читателей описываемые события являются открытием, потрясением. Уникальной еще и потому, что свидетельств из расстрельных рвов и ям сохранилось гораздо меньше, чем тех, кто этих могил избежал.

Это свидетельство человека, который запомнил и передал нам то, что по чудовищному плану не должен был запомнить никто, кроме самих палачей.

В этой книге речь идет об уничтожении евреев Риги во время Второй Мировой войны, об одном из самых кровавых преступлений нацистов и их пособников на оккупированной части СССР, которое стоит в одном ряду с Бабьим Яром в Киеве, Понарами в Вильнюсе, Девятым Фортом в Каунасе и многими другими.

Современному человеку трудно понять, осознать как такое могло произойти. Евреи Риги, как в других европейских городах, жили, любили, страдали. Так же, как и все остальное население этого красивейшего города, евреи переносили трудности первых десятилетий двадцатого века после Первой мировой войны.

Многие государства Европы, в частности Прибалтийские республики, Чехословакия, Польша и судьбы их народов в 30-х–40-х годах были пешками в играх так называемых «Великих держав».

Агрессивные планы тоталитарных государств — гитлеровской Германии и сталинского СССР при явном попустительстве Англии, Франции, США привели к началу войны в Европе, при их полном безразличии к судьбе евреев, которым грозило тотальное уничтожение. Преступное соглашение Гитлера и Сталина лишило Латвию независимости в июне 1940 года, а через год последовало их столкновение и оккупация Латвии вермахтом.

Для евреев в оккупированной нацистами Европе не было исторического выбора, что все «как-то уладится, что можно будет договориться с местными и пришлыми правителями», как это бывало в трагичной еврейской истории на протяжении веков. По идеологии нацистов, их расовой теории о неполноценности евреев как «низшей, недочеловеческой расы», все евреи оккупированных гитлеровской

Германией стран были обречены на тотальное истребление. В этой войне уцелели единицы, в Латвии — несколько сотен из 80 тысяч.

Книга эта написана по воспоминаниям одной из двух женщин, чудом уцелевших при расстреле рижских евреев в Румбульском лесу.

В ходе двух массовых акций в конце ноября — начале декабря 1941 года было уничтожено почти все Рижское гетто, около 30 тысяч человек. Шансы выжить были ничтожны. Но Фрида Михельсон выжила и очень многое запомнила. Забыть это невозможно, даже если и пытаешься. А после войны в 60-х годах она написала на своем родном языке идише воспоминания-записки, из которых Давид Зильберман литературно обработал и составил на русском языке рукопись настоящей книги. Ее он тайно привез с собой в Израиль в 1971 году. Эта машинописная рукопись в свое время была размножена и циркулировала среди еврейских кругов по многим городам Советского Союза как «самиздатская» литература. Об издании ее в антисемитском СССР не могло быть и речи.

Предлагаемое вам издание — уже третье. Однако, эта книга российскому читателю оставалась неизвестной. Скромное по тиражу предыдущее издание практически не распространялось за пределы Латвии.

Но проблемы памяти о жертвах нацизма, недопустимости «реабилитации» преступников, их оправдания, борьбы с современным антисемитизмом остаются в высшей степени актуальными не только для Латвии и России.

14–15 марта 2010 года в Риге состоялась Международная конференция «Итоги Второй Мировой войны: жертвы, праведники, освободители и палачи». Присутствовали историки, писатели, кинодокументалисты и общественные деятели из Латвии, Израиля, США, Германии, Австрии, Великобритании, России, и в частности те, кто готовил это издание.

А 16 марта 2010 года, рядом, на соседних улицах проходили мероприятия в память о «героях» латышского легиона «Ваффен СС». Вопреки протестам антифашистских организаций и решению городских властей... В год 65-летия открытия Нюрнбергского процесса, четко определившего осуждающее отношение к нацистским организациям.

Осквернение еврейских кладбищ, и могил жертв Холокоста, марши «ветеранов» местных формирований, воевавших на стороне нацистской Германии — все это происходит сегодня, но так угрожающе напоминает события семидесятилетней давности.

Данное издание подготовлено Российским Центром «Холокост» при поддержке и сотрудничестве Давида Зильбермана, бывшего многолетнего «отказника»-диссидента, избежавшего гибели в 1941 г., но в полной мере познавшего советский государственный антисемитизм, который еще в 60-х годах начал борьбу за сохранение памяти о Холокосте в Латвии.

Д-р Кирилл Феферман и Леонид Терушкин



Здесь могильная тишина. Смерть. Ночь. Вечность.

Румбула — Рига, Бикерниеки, Саласпилс, Клоога, Панары, Бабий Яр, Майданек, Треблинка, Освенцим... Тысячи и тысячи залитых кровью городов и местечек.

Я поднимаюсь от вас, мои безмолвные мученики, старики и малютки, отцы и матери, мужья и жены, братья и сестры, женихи и невесты, дети, юноши — загубленные миллионы. Вы велели мне рассказать живущим, я слышу ваши крики и плач, топот тысяч ваших ног, бегущих в могилу, ваше предсмертное:

« П о м н и ! » ...

К л я н у с ь вашей памятью, вашей кровью, напоившей жестокие просторы, вашим пеплом, развеянным по миру, вашим дымом из труб крематориев.

К л я н у с ь вам :

я им, живым, все расскажу — все, что я видела, — кто вас убил и кто предал. Я не дам вас оболгать и подменить, я была вместе с вами до последней минуты на плахе — в моих жилах течет ваша кровь и в сердце стучит ваш пепел.

К л я н у с ь говорить П р а в д у , одну только П р а в д у .

Фрида Михельсон

НАЧАЛО ТРАГЕДИИ

Рига, воскресенье 22 июня 1941 года. Теплый солнечный день. Настроение у меня и у моей младшей сестры Нехамы приподнятое. Сегодня к нам в гости должна приехать мама. Она живет в Ливанах¹ со своим мужем, нашим отчимом. Мы готовим ей приятную встречу, представляем, как будем показывать ей рижские достопримечательности, как выедем за город, на взморье.

Мы стоим на перроне и ждем поезда, еле сдерживая радостное ожидание предстоящей встречи. Она давно не была у нас. Но вот наша мама сходит со ступенек вагона, мы бросаемся к ней, но она как-то странно грустна и, только расцеловавшись с нами и не задавая обычных беззаботных вопросов, неожиданно говорит:

— Детки, меня в последнее время томит странное предчувствие, будто кто-то гонит меня к вам повидаться.

Мы ее с трудом успокаиваем и приводим в мою квартиру на улицу Кришьяня Барона, 55. У меня на столе уже расставлены вкусные яства, мы угощаем маму, делимся новостями, рассказываем о знакомых.

Я вышла на улицу купить кое-что в магазине. Вдруг слышу странный шум, какое-то возбуждение. Что происходит? Я почувствовала что-то неладное. Неожиданно из толпы донесся чей-то громкий взволнованный голос:

— Гитлер напал на Советский Союз! Война! Только что это передали по радио. Я сам слышал! Я остолбенела, стою, точно вкопанная, словно меня ударили чем-то по голове. Война, и, конечно, трудная, долгая война. Это переворот в жизни и, воз-

¹ Ливаны — город в тогдашнем Даугавпилсском уезде Латвии в 170 км от Риги.

На другой день мать решила вернуться к себе домой, в Ливаны. С тяжелым чувством мы провожали ее; кто знает, свидимся ли снова, когда и где, если земля полыхает под ногами.

Мой брат Шолом, коммунист, бывший подпольщик, ушел добровольцем в Красную армию. Я решила уехать на некоторое время к нашим родственникам в Варакляны¹ (Я была убеждена, что наша Красная армия настолько сильна, что наверняка и скоро расправится с врагом). Мои сестры Сарра и Нехамма, напротив, договорились оставаться на месте, в Риге. На прощанье я все же убеждаю их, если фронт приблизится, немедленно оставить Ригу и пуститься в Россию.

ВАРАКЛЯНЫ

Я прибыла в Варакляны¹ к нашим родственникам Тальвинским. Они были мне рады, но радость эта была мимолетной: и над Вараклянами появились гитлеровские бомбардировщики.

Прошло еще несколько тревожных дней. По главной дороге теперь массами без конца идут на восток красноармейцы. А вместе с ними множество грузовых машин, битком набитых беженцами: женщинами, детьми, мужчинами. Все бегут. Несется непрерывный людской поток.

Я спрашиваю у некоторых, откуда и куда они едут. Никто ничего толком не говорит, все уклоняются от прямого ответа.

Вскоре на шоссе становится тише, редеют толпы. Как-то днем вижу: еле бредет по дороге красноармеец, измученный, согнутый, волочит винтовку. Чуть дальше движется еще несколько таких же изможденных солдат. Ясно, что фронт близко, они — последние. Приближаются немцы. Рождается тревога, возникает паника. Отсюда надо бежать, надо спастись. Все собирают вещи. Кое-кто уже уезжает. Но все это происходит как-то странно секретно. Никто ни с кем не делится.

И моя тетушка Тальвинская, охваченная общим настроением, тоже собирает вещи. Ее сын приводит лошадь, запрягает телегу и складывает разный скарб.

Я сажусь в телегу и жду остальных. Моя тетушка все не может оторваться от знакомых, те отговаривают ее:

— Мы старые люди, куда нам ехать? И она колеблется. А в этот момент к нам подходит какая-то еврейская девушка

¹ Варакляны — город в тогдашнем Резекненском уезде, в 200 км от Риги; число евреев в нем, по данным последней предвоенной переписи населения (1935 год), насчитывало 952 человека (из 1661 жителя), или 57,32 % — самый высокий показатель в Латвии.



Рынок в Вараклянах. 20-е гг.

и говорит, что ехала поездом и была уже у границы под Зилупе¹, но через границу никого не пропустили, никому из большой массы беженцев не разрешили уехать в Россию². Вот она и вернулась в Варакляны. Мы не знаем, что делать.

Проходит час, два... Узнаём, что на лошадях уже вообще невозможно уехать, все дороги обстреливаются местными фашистами и диверсантами³. Значит, нужно остаться и довериться судьбе. Мои родствен-

- 1 Зилупе — пограничная железнодорожная станция у латвийско-русской границы.
- 2 После присоединения Латвии к СССР передвижение людей через прежнюю латвийско-советскую границу не было свободным на протяжении всего года советской власти (1940—1941) — для пересечения границы требовалось специальное разрешения. Таким положение оставалось до 3 июля 1941 года, в результате чего многие люди, желавшие эвакуироваться в глубь территории Советского Союза, возвратились, не дождавись открытия границы.
- 3 Имеется в виду пронацистское подполье, организация и деятельность которого координировалась германскими спецслужбами через своих агентов — бывших офицеров латвийской армии (А. Пленснерс, В. Деглав и др.). Некоторые отряды (в Латвии их было до 20), насчитывавшие до 300 боевиков, нападали на отступавших красноармейцев и расправлялись с пытавшимися эвакуироваться в советский тыл мирными жителями или передавали их гитлеровцам. Череда огневых точек у Центрального вокзала и вдоль главной магистрали Риги — улицы Бривибас недвусмысленно свидетельствовала о том, что в последние дни июня 1941 года здесь велась организованная охота на людей. Затем некоторые из этих отрядов преобразовались в «силы самообороны», деятельность которых, по замыслу германских секретных служб, должна была быть кратковременной и ограничиться расправами с советскими активистами и еврейскими погромами, однако какой-либо роли в завоевании и контроле территории для них предусмотрено не было. Поэтому с 8 июля, когда вся территория Латвии была уже в руках немцев, эти формирования были ими распущены.

ники решают ехать в деревню к знакомым крестьянам и там переждать, пока не стихнет стрельба.

Деревня примерно в трех километрах от Вараклян. Мы едем туда на своей лошади.

Вот и деревня. Уже вечер. Знакомый крестьянин ведет нас в комнату, устраивает на ночлег. На другой день поутру мы выходим из дому оглядеться, выяснить, что творится вокруг. Из соседнего леса выходит молодой краснолицый мужчина лет двадцати, здоровяк, заросший, обутый в лапти. Не глядя на нас, он направляется прямо к нашему хозяину. Они отходят в сторонку и шепчутся, а затем хозяин подходит к нам и говорит:

— Вы можете вернуться в город, там уже тихо, и никто вас не тронет.

Нам этот парень кажется подозрительным, и мы не знаем, стоит ли ехать. Тогда хозяин обещает, что сам пойдет в город выяснить обстановку. Через несколько часов он возвращается и говорит, что в городе спокойно, советует нам ехать, не задерживаясь.

Напоследок хозяин накормил нас, моя тетя его благодарит, щедро расплачивается, и мы возвращаемся к Варакляны. Там действительно тихо, мирно, все улеглось.

Я пошла по городу проведать других моих родственников и знакомых. Большинство из них еще в укрытиях.

Один из моих двоюродных братьев — Гутман со своей семьей все же эвакуировался, об остальных рассказывают, что они разбежались — кто в окрестные деревни, кто прячется в подвалах. Но в основном никто ничего не знает о других, каждый сам по себе.

На следующий день в городе появляются первые немцы. Говорят, что это десантники-парашютисты. Они начинают хозяйничать в городе. Прежде всего они пускаются по еврейским домам, требуя продукты: яйца, масло, молоко и пр.

К колодезю через дорогу напротив нашего дома подошел немец-солдат, но, прежде чем зачерпнуть воды, он позвал нас и предупредил:



Еврейская школа в Вараклянах (здание сожжено во время войны). 30-е гг.

— Если вода отравлена и пострадает хоть один немец, то будут уничтожены сотни евреев.

На другое утро я направилась к своим дальним родственникам, жившим недалеко за городом. У них была дочка лет шестнадцати. Мы с ней расположились на полянке возле дома. Вскоре появился полупьяный немец с красным испитым бандитским лицом. Моя подружка бледнеет от страха, прижимается ко мне, прячет лицо за мое плечо.

Немец подходит ближе и спрашивает, являемся ли мы *“zum haben”*, т. е. «постельными». Бедняжку девушку лихорадит еще сильней, но я держусь спокойно и хладнокровно отвечаю ему:

— Пойдите вот туда, в тот дом, я знаю, там много женщин, они вам понравятся, уверяю вас, вы получите большое удовольствие. Они вам бросятся сразу на шею, — и рукой указываю ему на высокий дом.

Немец, с трудом держа равновесие, грозит рассчитаться со мной, если я его обманула. Все же он уходит вперед.

Мы вдвоем стремглав бежим домой и прячемся на чердаке, глядя на улицу сквозь щели досок, ждем, что будет дальше. Немец действительно зашел в указанный дом, но вскоре вышел, стреляя из пистолета в воздух. Он ищет нас, расспрашивает прохожих, куда мы делись. Нас обеих от страха лихорадит. Мы приходим в себя лишь после того, как убеждаемся, что немец, прекратив, наконец, поиски, убрался восвояси.

Позже в тот же день мы видим другое: местный латыш показывает какому-то немцу-начальнику, где спрятались советские солдаты. Он направляет немца в сторону большого ржаного поля.

Немного погодя появляются несколько вооруженных немцев. Они уходят в сторону поля и вскоре приводят под конвоем целую группу раненых и изможденных военнопленных.

Такие сцены повторяются и на следующий день. Пленных гонят группу за группой. Мы провожаем их с болью в душе, не отрывая взглядов от обреченных. Не оставляет мысль, что нас ждет та же судьба.

Спустя несколько дней было объявлено, что евреи не имеют более права общаться с неевреями, например лечиться у нееврейских врачей, пользоваться услугами «арийцев», стоять вместе в очередях и т.д. Отныне евреи могут закупать продукты лишь в специально отведенном для них магазине на базарной площади.

У этого магазина теперь ежедневно выстраиваются длиннейшие очереди. Магазин снабжается хуже остальных — явно, чтоб нам жить впроголодь.



Советские военнопленные на улицах Риги. Июль 1941 г. Фото из газеты «Тевия».

Бывает, что в очереди начинается ссора из-за места, за количество продуктов в одни руки и просто, ни с того ни с сего. Проходящие мимо немцы и местные «арийцы», наблюдая эти сцены, отпускают злорадные шуточки.

Однажды в очереди стояла еврейская девушка лет девятнадцати-

дцати-двадцати, психически больная. Немцы обратили внимание на ее чудаковатость и придрались. Они пытались заставить ее петь, танцевать. Девушка отказалась, скривила гримасу. Тогда немцы безжалостно обрушились на нее с нагайками. Та дико закричала под ударами, садисты от удовольствия покатывались со смеху.

Ежедневно немцы хватили на улицах случайно проходивших евреев, преимущественно пожилых, и гнали их на работы. В основном их заставляли по многу раз подметать и чистить одни и те же улицы, дворы, помещения и др.

Было очевидно, что это делается не по необходимости, а исключительно с целью издевательств и унижений.

Несколько позже стало известно, что немцы изнасиловали молодых еврейских девушек, забрали у них ценные вещи, избили и выбросили из окон. Такие события стали нормой жизни евреев под властью фашистов.

Однажды появилось официальное сообщение: крестьян из вараклянской округи приглашали собраться в следующее воскресенье на базарной площади. Я тоже пошла посмотреть, переодевшись, чтоб меня не опознали.

Вдруг немцы начали бросать из магазина прямо в толпу разные вещи, преимущественно мелочи: пачки папирос, спички, кофе, нитки и т. д. Люди бросились на пакеты, начали рвать друг у друга из рук, некоторые подрались, началась свалка, неразбериха. Из толпы донеслись крики — кого-то раздавили.

Немцы выстрелили несколько раз в воздух и прекратили подачки. Толпа наэлектризовалась, загудела, взбудоражилась до предела. Все чего-то еще ждали.

Немцы, видимо, задумали организовать знакомство с местным населением, выступить с пышными речами в роли «ос-

вободителей». Обещаниями и подарками они намеревались подкупить народ, расположить к себе и натравить на «большевизм и жидов». А тут толпа вышла из-под контроля. Никто не выступил, встреча так и не удалась.

Продержав толпу еще недолго на площади, немцы объявили, что знакомство окончено, и приказали людям быстро разойтись по домам.

*

По городу распустили слухи, что всех евреев будут убивать. Латыши — знакомые и соседи — перестали с нами разговаривать, при встрече проходят мимо, отворачивая голову, не замечают, словно мы уже не существуем, все старое перечеркнуто. Теперь они уверены, что ранее существовавшие добрососедские отношения им больше не понадобятся, а расплаты за предательство не будет.

Мы чувствуем по всему, что неотвратимо надвигается смерть, охватывает оцепенение и мучительный страх. Ни о чем нельзя думать, от любого стука или чужого голоса вздрагиваешь. Все кажется, пришли за нами, уже начинается...

Мы договорились одновременно всем отравиться, прежде чем нас поведут на бойню, если увидим, что к нам идут полицаи. Тетя раздобыла сильный яд и раздала всем нам.

А пока, чтобы немцам после нас ничего не досталось, мы портим вещи и мебель, режем кур, уничтожаем все хозяйство.

Как и все остальные, я тоже чувствую себя живым трупом, хоть стараюсь что-то делать, куда-то днем ухожу; но ни на минуту не оставляет чувство обреченности, безысходности, надвигающейся смерти.

Так проходит еще несколько дней. 15 июля разнесся слух, что беженцы, приехавшие в Варакляны, могут возвращаться в свои города. Я пошла в полицейский участок спросить, правда ли, что дозволено ехать домой, и можно ли получить какой-нибудь документ с разрешением на поездку в Ригу.

— Вы можете ехать куда угодно, — ответил мне полицейский, — но никаких разрешений мы не выдаем и за дорогу не гарантируем.

Я твердо решила сейчас же ехать. Теперь мне нужно было как-то добраться до вокзала. Я обратилась к местному латышу-извозчику с просьбой подвезти меня за хорошую плату, но он наотрез отказался: «арийцам» возить евреев строго запрещается, он не имеет права.

Пришлось разыскивать еврейского фурмана¹. Мне указали адрес еврея-извозчика, я пошла туда с той же просьбой, но и он не отважился ехать: по дороге могут расстрелять нас обоих, он боится — у него семья, дети. После долгой беготни я, наконец, умолила другого еврея — владельца лошади, и он отвез меня после полудня на ближайшую станцию Стирниене, в восьми километрах от Вараклян.

На станции я встретила большую группу евреев — мужчин, женщин, детей (это были, видимо, застрявшие беженцы).

— Как вы попали сюда? — спрашиваю я их.

— Так же, как вы, — отвечают они нехотя. Они скрытны, сторонятся людей, держатся семьями, ни из кого не выжать лишнего слова.

Скоро подошел поезд на Крустпилс². Столпившиеся на перроне пассажиры сели в вагоны. Поезд тронулся. В моем вагоне, в соседнем купе, едут две еврейки — мать с дочерью.

Мать все время плачет, всхлипывает и причитает, видимо, кого-то из их родных убили. Соседки, латышские пассажирки, ворчат: они недовольны соседством евреек и демонстративно пересаживаются на другое место.

Вечереет. Поезд прибывает в Крустпилс, дальше он не идет. Большинство пассажиров остаются в вагоне, я тоже не выхожу. Поезда на Ригу обещают только завтра.

Медленно тянется время. Всматриваюсь в окно и вижу: перед окошком кассы на вокзале стоит очередь евреев, их регистрируют. Мне кажется, что некоторые из них приехали тем же поездом из Вараклян. Меня мучает вопрос: что все это значит? Я выхожу из вагона, начинаю прогуливаться вдоль поезда и всматриваюсь в то, что происходит у кассы. Одна женщина из очереди делает мне знаки рукой, чтобы я не подходила к ним. Я бы и так ни за что не подошла, а теперь немедленно забираюсь назад в вагон и начинаю скрепя сердце «непринужденно» беседовать со своими соседками. Вдруг одна обращается ко мне:

— Вы не видели, как евреев загнали в товарный вагон и замкнули?

От ее слов меня пробирает дрожь, но я ничем не выдаю себя. Через несколько минут я снова выхожу на перрон. Действительно, стоит забитый досками товарный вагон.

1 Извозчика (*идиш*).

2 Крустпилс — город в тогдашнем Даугавпилском уезде в 150 км от Риги, железнодорожный узел. С 1962 года часть города Екабпилса.

Неужели там евреи? И что с ними сделают? С тяжелым чувством я возвращаюсь в вагон и не выхожу всю ночь.

Меня не оставляет мысль о людях, томящихся взаперти в товарном вагоне, об их судьбе. От волнения не могу всю ночь глаз сомкнуть. Соседки в вагоне спят. На меня никто не обращает внимания, видимо, не принимают за еврейку.

Светлеет. Наступает утро. Поднимается яркое солнце, но на душе у меня мрак и уныние. Я думаю все о том же. Пассажиры просыпаются, приводят себя в порядок, они ожидают рижского поезда.

Мои соседки, по примеру других, направляются за вокзал на зеленую лужайку и располагаются: разворачивают свои дорожные пакеты, едят, пьют, беседуют, шутят. Я тоже решила пойти к ним: я не должна казаться чужаком. Какая-то средних лет латышка, окруженная несколькими женщинами, держит в руках колоду карт и раскладывает их на платке, разостланном на траве: она хочет знать, жив ли ее сын. Другая спрашивает, можно ли по картам узнать, не случилось ли чего худого с ее мужем и дочерью и где они находятся в данное время.

Я вступаю в беседу, говорю, что умею гадать. Они обрадовались, просят меня в середину. Мне передали колоду, и я начала. Конечно, я толкую все карты к добру: их родные живы, они скоро увидятся, будут счастливы — и всем женщинам в том же духе. За этим занятием проходит все время.

В час дня подали поезд на Ригу. Пассажиры со вчерашнего поезда суетливо перебираются в вагоны, толпятся с пакетами, но держатся компаниями. Я тоже держусь вместе с латышками и сажусь у окна рядом с ними.

Раздался свисток, взревел паровоз, и поезд, шипя, нехотя тронулся, постепенно разгоняясь. Мы поехали в Ригу. Монотонно стучат колеса, мы уже оставили за собой добрый отрезок пути.

Но я замечаю, что пассажир, стоящий напротив в дверях, не спускает с меня глаз. Пытаюсь не смотреть на него, отворачиваюсь к окну. Но когда наши взгляды на миг встречаются, меня пронизывает холод и страх. Я чувствую его злое желание разоблачить меня, во всеулышание объявить «жидовкой» — тогда я погибла. Я набираюсь духу и начинаю бойко говорить по-латышски со своими соседками и даже отпускать шутки. Я вижу, как взгляд моего преследователя становится мягче, теперь он не такой злой и пронизывающий.

Мы приезжаем на станцию Гостини. Навстречу из Риги идет длинный состав открытых платформ, на них сотни латышских добровольцев, в основном молодых ребят.

Добровольцы одеты в серо-зеленую форму айзсаргов¹ и старой ульмановской армии. Их кожаные ремни и портупей обвешаны оружием. Я слышу, как они кричат:

— У вас в вагоне есть жиды?

Мое сердце замирает от страха, кровь ударяет в голову — сейчас ворвутся и меня схватят. Но тотчас впереди у окна раздается громко в ответ:

— У нас в вагоне жидов нет.

Пассажир, столь подозрительно сверливший меня злым взглядом, тоже повторяет эти слова.

Я перевела дыхание, чуть отлегло. Наш поезд трогается дальше. Наконец, через несколько часов, Рига. Прямо с вокзала направляюсь домой.

1 Айзсарги (латыш. *aizsargs* — защитник) — массовая военизированная националистическая организация в Латвии, созданная в марте 1919 года для борьбы с большевиками. Действовала сначала на обязательной основе, а с 1921 года — на добровольной. Послужила основной силой в осуществлении антиконституционного государственного переворота 15 мая 1934 года, совершенного латышскими национально-консервативными силами под руководством Карла Ульманиса (1877—1942), и была главной опорой установленного им этнократического авторитарного режима. Вместе с женскими и детскими организациями к июню 1940 года достигла численности около 68 тысяч человек и практически пронизывала все общество. Была разоружена и ликвидирована советской властью в июле 1940 года, часть членов организации были репрессированы. Во время германской оккупации бывшие айзсарги явились одним из основных резервов нацистских коллаборационистов. В мае 1990 года организация возобновила деятельность как общественная, однако она малочисленна и ее популярность ничтожна.

РИЖСКАЯ ПРЕФЕКТУРА

Сегодня 16 июля. Иду по знакомым улицам Риги, на них всегда было много прохожих-евреев, теперь изредка встретишь еврея. Они бредут в одиночку с печальными лицами, согнувшись от горя и страха. Зато на каждом шагу видишь расфранченных немецких военных, с сияющими лицами прогуливающих с нарядными латышскими фрейлейн в светлых платьях и белых шляпках. Они прохаживаются, шутят, смеются, флиртуют.

А у меня на душе тоска и траур. Сажусь в трамвай. Здесь — ни одного еврея, видимо, запрещено. Приезжаю к себе на улицу Кришьяня Барона. В квартиру попасть не могу, у меня нет ключа. Иду к дворнику Козловскому, он живет в этом же доме. Меня встречает его жена, самого дворника нет. Я расспрашиваю ее, не знает ли она о моих сестрах.

— В последний раз я видела их незадолго до прихода немцев, кажется, за день, — отвечает она. — Покидая квартиру, ваши сестры хотели оставить у нас ключ, но я его не взяла. — Больше я ничего о них не знаю.

— И они ничего мне не передали?

— Нет. Они не сказали, куда едут. Но если они пытались эвакуироваться, — добавляет равнодушно Козловская после короткой паузы, — их наверняка схватили и убили, здесь творилось ужасное.

— Боже мой! — меня ошпарили ее слова, потемнело в глазах. Стою пригвожденная к месту, не могу прийти в себя, не знаю, что предпринять, что делать, куда пойти. Она предлагает остаться у нее переночевать: у них свободная комната. Я остаюсь.

Утром, оставив у дворника чемодан с вещами, я решила выйти в город, встретить знакомых, узнать о положении дел. Но только я пересекла улицу, как меня схватили двое воору-



Привокзальная площадь в Риге. 30-е гг.
Слева видно трехэтажное здание префектуры

женных здоровенных латышских полицаев с красно-белыми повязками на левой руке¹.

— Попалась птичка! — возбужденно закричал один. — Ведем ее!

— Что же я за птичка? — спрашиваю недоуменно их, ошарашенная неожиданным нападением. — Вы, наверно, меня с кем-то перепутали.

¹ То есть с цветами латвийского флага. С 8 июля 1941 года нацистский оккупационный режим запретил латышам использование национальной символики и распустил созданные ими после начала войны организации («силы самообороны» и др.) как самочинные. Вместо них нацистами стала создаваться латышская вспомогательная полиция (вступившие в нее носили зеленые повязки с надписью *Hilfspolizei* — вспомогательная полиция).

— Меньше разговаривай и иди! — буркнул другой полицейский, и меня потащили в префектуру¹.

В префектуре было много задержанных евреев — мужчин, женщин, молодых, старых. Я начала упрашивать охранников разрешить мне сбежать домой, чтобы взять кое-что из необходимых вещей: я была в одном легком платье.

Мои слова словно не доходили до них, не пускали даже матерей, которые оставили без присмотра грудных младенцев.

Женщины плачут, умоляют разрешить им отлучиться хотя бы на несколько минут, чтобы предупредить родных, устроить детей, взять что-нибудь из еды. Но ничего не может смягчить сердца жестоких полицеев: ни слова, ни слезы, они продолжают издеваться над беззащитными задержанными.

В префектуре еврей-рижане рассказали мне о чудовищных злодеяниях немцев в первые несколько дней их господства: тысячи мужчин, женщин разного возраста были схвачены и брошены в застенки Центральной² и других тюрем. Никто не знал еще тогда об их дальнейшей судьбе.

Людей хватили на улицах, на работе, но преимущественно ночью, вытаскивая их из постелей, без одежды, еды, в одном белье, как застигали³. В те дни были уничтожены многие

1 Имеется в виду здание на бульваре Аспазияс, 7, выходящее другими своими фасадами на улицу 13 января и городской канал и ныне занимаемое управлением полиции Риги. Здесь в первые дни нацистской оккупации находился руководитель эйнзацгруппы (оперативной группы) А полиции безопасности и СД Вальтер Шталеккер и назначенный нацистами префект (начальник) рижской полиции Роберт Штиглиц — бывший руководитель агентуры Политического управления (спецслужбы) Латвии (после войны бежал в Бразилию) — основные организаторы Холокоста в Латвии в первые месяцы нацистской оккупации. Здесь же находились штаб и боевики «самоохраны».

2 В рижскую Центральную тюрьму (улица Маза Матиса, 3) уже начиная с первых дней нацистской оккупации стали свозить арестованных евреев-мужчин, большинство из которых потом были расстреляны в Бикерниекском лесу (см. примечание 1 на с. 51). Небольшая их часть были расстреляны на тюремном дворе и зарыты на находящемся прямо у стен тюрьмы кладбище Матиса. По неполным немецким данным, только за первые две недели оккупации (с 1 по 15 июля 1941 года) в эту тюрьму были заключены около 2400 евреев; почти все они были расстреляны.

3 Речь идет о так называемых «ночных акциях», после того как гитлеровцам не удалось спровоцировать в Риге «стихийные» еврейские

видные представители еврейской интеллигенции: инженеры, юристы, врачи, руководители промышленных и торговых предприятий. На глазах у всех их выводили из рядов задержанных и тут же, неподалеку, расстреливали. Бывшие их коллеги-латыши в большинстве своем выражали свое удовлетворение таким оборотом дела.

Тысячи евреев, включая детей, схваченных на улицах или в домах, были согнаны, чтобы собирать и хоронить трупы, очищать улицы от развалин. Но многих заставляли выполнять ненужную, бессмысленную работу только для удовлетворения страстей садистов и насильников.

Проходя по городу, направляясь к местам принудительных работ или к ямам, где их расстреливали, еврейские колонны подвергались диким издевательствам не только со стороны сопровождавших их шуцманов¹, так называемых «повязочников», но и со стороны прохожих, гражданской публики.

Принудительные работы длились с раннего утра до темноты, люди обязаны были напряженно трудиться под палящим солнцем, не получая ни еды, ни питья.

Лишь некоторую часть угнанных отпускали на ночь домой, строго наказывая наутро снова явиться в префектуру для отправки на работу. Многих после работ приводили прямо в префектуру, где они, изможденные, оставались всю ночь в страшной давке, спертom воздухе, кое-как примостившись на полу подвалов, чтобы с рассветом снова приняться за непосильный труд.

Сотни евреев в первые дни были приведены в префектуру единственно с целью издевательств и насилия.

погромы. Посредством этих акций был достигнут эффект террора, чтобы подавить волю евреев к сопротивлению и удержать окружающее население от помощи евреям. Группы грабителей в составе двух-трех вооруженных лиц вламывались в квартиры, загоняли жильцов в одну комнату, требовали от них деньги и драгоценности, обыскивали и громили квартиры. В первые дни июля эти акции часто сопровождалась арестами евреев-мужчин, однако для их участников, помимо устрашения, эти акции не имели иных мотивов, кроме грабежа. Впоследствии из участников «ночных акций» сложились банды грабителей, которые в поисках добычи продолжали налеты на еврейские квартиры вплоть до закрытия ворот гетто.

1 Нем. *Schutzmann* — полицейский (в Германии — до 1945 года). Так называли полицеев из числа нацистских коллаборационистов.



«Повязочники» и их жертвы. Июль 1941 г.

Убеленных сединой бородатых стариков под дулами пистолетов заставляли облачаться в талес¹ и тфиллин², плясать и распевать советские песни. Девушек, молодых женщин в присутствии мужчин, близких, знакомых заставляли раздеваться догола и совершать на глазах всех омерзительный половой акт,

- 1 Талес (*идиш*; др.-евр. *талит* — мантия, плащ) — прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти (или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль коротких сторон и с цицит по углам (в идишистском варианте *цицес*) — кистями из сложенных восьми шерстяных или шелковых нитей с пятью узлами, прикрепляемыми к талесу или одежде и носимые как напоминание о 613 заповедях иудаизма.
- 2 Тфиллин (*др.-евр.*) — филактерии (гр. *phylakterion* — оберегатель, хранитель) — амулет в иудаизме, представляющий собой две маленькие кожаные коробочки с цитатами из библейских книг Исход и Второзаконие; с помощью ремешков прикрепляются совершеннoлетними мужчинами на левую руку и на лоб во время утренней молитвы в будни.

многих изнасиловали шуцманы. Некоторые из женщин от ужаса сходили с ума.

Евреев заставляли в диком темпе бежать по лестнице вверх-вниз без остановки, смертельно избивая их на ходу, пока пожилые, менее здоровые, не падали замертво. Изуверски были замучены евреи, оказавшиеся в застенках штаба организации латышских фашистов «Перконкрустс»¹ по улице Валдемара, 19². «Перконкрустовцы» были застрельщиками разжигания антисемитизма, главарями-палачами в акциях массовых убийств еврейского населения и обер-грабителями оставшегося имущества жертв.

Практически свою программу злодеяний в отношении мирного еврейского населения немецкие хозяева вершили руками латышских фашистов, перещеголявших по бесчеловечности и садизму своих господ и превзошедших самые смелые ожидания и прогнозы гитлеровцев.

Ужас овладел мною, когда я слушала в префектуре о неслыханном чудовищном варварстве немцев и их прислужников. Мне рассказали, что на днях была расстреляна после полевых работ целая группа еврейских женщин якобы за то, что они плохо работали.

Не западня ли это для нас? Возможно, нас попросту сюда привели, чтоб назавтра расстрелять? Что делать? Я начала искать лазейку, чтобы вырваться отсюда, но напрасно, все двери были на замке и охранялись.

Прошло еще несколько часов мучительных ожиданий. Открылась дверь, вошел какой-то солдат и объявил: 12 женщин поедут на полевые работы. Он принялся отбирать — я попала в

- 1 «Перконкрустс» (*латыш.* «Громовой крест») — политическая организация в Латвии (образовалась из основанной в 1922 года организации «Латышский национальный клуб»), включала главным образом студенческую молодежь (руководитель Г. Целминьш). Программа и атрибутика были заимствованы у итальянских и немецких фашистов. В 1934 году была запрещена латвийскими властями. В начале нацистской оккупации (июнь 1941 года) возобновила свою деятельность, и ее члены добровольно участвовали в массовых расправах над советскими активистами и евреями; в августе 1941 года была запрещена оккупационными властями, а ее члены влились в нацистский репрессивный аппарат.
- 2 Дом на улице Валдемара, 19, до начала 1940 года принадлежавший еврейскому банкиру Арону Шмульяну, в годы нацистской оккупации служил штабом «Перконкрустса».

это число. Среди отобранных оказалась одна худенькая, согнутая, совсем седенькая старушка.

Стало еще страшней. Говорили, что старых, как правило, вовсе не ведут на работу, а отправляют прямо к ямам. Шуцман приказал выходить и строиться в колонну.

Нас повели через Двину к станции Засулаукс. Подошел товарный состав. Шуцман приказал нам влезть в вагон.

Вскоре мы прибыли в Елгаву¹. Нас вывели и снова построили. Здесь у вокзала нашу колонну полицаи записал в какой-то список. Я пристально вглядываюсь по сторонам: быть может, увижу знакомых — в Елгаве я многих знала. Но гражданских вообще в городе мало, встречаются одни лишь немецкие военные и полицаи. Но вот вижу, ведут под конвоем группы арестованных местных жителей, видимо, это коммунисты-активисты. Они оборваны, измучены, на них нельзя смотреть без сострадания.

Полицай заканчивает регистрацию и командует трогаться. Шагаем теперь, изнуренные, по пыльной дороге. Некоторые уже совершенно выбились из сил.

Солнце садится за лесом. Куда идем, неизвестно. Вечереет. Наконец после десятикилометровой ходьбы нас приводят к какому-то богатому хутору. Уже поздний вечер.

Из дома навстречу выходит хозяин, пожилой латыш. Переговорив с охранником, он указывает нам место на чердаке коровника, там мы должны расположиться на ночлег.

Измученные за целый день ходьбы, напуганные всем пережитым, мы начали карабкаться наверх, на чердак. Большинство из нас уже сутки ничего не ели, мучает жажда, душит страх. Что ждет впереди?

На полу чердака слой соломы. Укрыться на ночь совершенно нечем. Мы собрали в кучу солому, сгрудились вместе и, кое-как примостившись, смертельно усталые, скоро забылись тревожным сном.

До восхода солнца нас разбудил громкий крик:

— Вставайте, пора на работу!

Мы спустились, охранник уже ждал и повел нас в кухню. Нас, наконец, накормили. Наша работа — прополка сахарной свеклы. Далеко простирающееся поле сплошь заросло сорняками, листья свеклы едва из-за них проглядывают.

Земля глинистая и твердая, рвать траву трудно. Для евреев — городских жителей такая работа непривычна и очень утомительна. Вскоре руки у всех покрываются кровавыми царапинами, волдырями. Охранник часто проверяет, следит, быстро ли мы работаем.

Ежедневно он отмеряет определенный участок-норму и строго предупреждает: если мы будем плохо работать, нас расстреляют. Нам, конечно, ясно, что угрозу он может в любой день привести в исполнение, и мы стараемся не вызывать нареканий, добросовестно трудимся из последних сил. Когда мы закончили обработку полей у одних хозяев, нас перебросили в соседнюю деревню, к другим хозяевам. Работа та же.

Рабочий день длится от зари до темноты, запрещается умываться, запрещается стирать пропотевшее единственное платье. Грязь и пот ввелись до зуда в тело, развелись вши. Волосы не расчесать — нет гребенки, нет перерывов в работе. Счастье, что еще кормят.

Иногда выдаются холодные ночи, и тогда мы прижимаемся друг к другу, сворачиваемся в комок, но не помогает: мерзнем, невозможно заснуть. Каторжный труд и нечеловеческие условия, палящее дневное солнце и ночные холода делают свое разрушительное дело — изматывают силы, вспыхивают болезни.

Однажды наша старушка свалилась на работе в глубоком обмороке. Мы оттащили ее в тень, уложили на траву, укрыли от посторонних глаз и холодной водой привели в чувство.

На другой день девушка Боброва получила солнечный удар, невыносимо разболелась голова, началась сильная рвота — казалось, она умирает. Мы едва упростили охранника увести ее в тень, чтобы оказать ей помощь, конечно, при условии, что остальные выполнят ее норму.

Мне тоже раз стало плохо на работе, потемнело в глазах, голова закружилась от нестерпимой боли, из носа хлынула кровь. Я зажала рукой нос и холодной мокрой тряпкой остановила кровотечение, немного отдышалась и снова за прополку. Лежать, отдыхать запрещено, за это можно поплатиться жизнью.

Так тянутся дни за днями.

Как-то раз около полудня мимо поля, где мы работали, проходил какой-то нездешний полицаи-айзсарг, вооруженный автоматом. Разглядев нас, он истерично закричал:

— Откуда здесь жидовки? — И, словно дикий пес, забежал вокруг нашей группы, пронзая нас безумным взглядом. Его лихорадило, руки судорожно дрожали, казалось, вот-вот он

¹ Елгава — город в 40 км от Риги; историческое название Митава, в составе Российской империи — центр Курляндской губернии, ранее — столица Курляндского герцогства.

начнет нас косить из автомата. Страшно было видеть, как он жаждет нашей крови.

Но, к счастью, наш охранник-«повязочник» был на месте и «заступился». Вступив в перебранку с коллегой-фашистом, наш охранник достал из кармана бумагу и показал, что он полновластный хозяин этой группы евреек. Недовольный и злой, пришелец-фашист, буркнув ругательства, убрался с поля. Позже хозяйка нам сказала, что не будь в тот момент нашего стража на месте или не сумей он доказать, что власть над нами дана ему префектурой, фашист наверняка уложил бы нас всех там же в поле.

Вскоре после этого случая среди местных жителей разнесся слух, что в деревнях работают городские еврейки. Не получив пока возможности нас уничтожить, местные фашистские холуи были рады поиздеваться. Толпами собирались они по ночам у нашего хлеба, стреляли в воздух, бесились, дико хохотали. Это подорвало вконец наши и без того взвинченные нервы и расшатанное здоровье.

У нас в группе была молодая учительница, она совершенно упала духом и постоянно твердила, что здесь в деревне нас сперва до смерти измотают, а затем перебьют, уж лучше сразу покончить с собой.

Я спорила с ней, старалась утешить других, особенно слабых, убеждала, что труд является для нас спасением, что он может нам пережить несчастье и мы вернемся домой.

Учительница дулась на меня, не разговаривала со мной из-за того, что я настраивала всю группу на свой лад. Но кроме того я еще «воевала» с девушкой лет восемнадцати из Краславы¹. Та систематически отлынивала от работы, зарывалась в высокую траву и отлеживалась. Меня это злило. Ведь в то же самое время наша старушка надрывалась, не разгибая спины. Все возмущались поведением девушки, но никто с ней не хотел связываться. Я же, напротив, решила прекратить это и попросила охранника выделить норму для каждой в отдельности. Он согласился. Это заставило и молодую работать со всеми наравне.

У меня работа спорилась, я трудилась быстро и хорошо. Справившись со своей нормой, я помогала старушке, но время у меня еще оставалось. А тем, кто выполнил норму, «повязочник» разрешал подойти к речке, умыться, постирать платье, оно высыхало на теле, но зато было без слипшейся грязи, пота

1 Краслава — город в тогдашнем Даугавпилсском уезде, в 265 км от Риги (историческое название — Креславка).

и вшей. Так мы проработали шесть недель, пока не пропололи в округе все поля сахарной свеклы.

В день окончания работ охранник сказал, что вышел новый приказ: все евреи обязаны носить желтые нашивки с изображением шестиконечной звезды, и в соответствии с этим приказом велел нам тоже смастерить и пришить к одежде эти «звезды Давида»¹. У нас не было желтой материи, пришлось прицепить к платью звезды из картона. Некоторые заплакали, надев впервые по два желтых ярлыка, клейма «неполноценной расы». Учительница тотчас напустилась на меня:

— Я же говорила вам, что все равно нас ждет горький конец, очень нужно было еще на них надрываться, перед тем как получишь пулю... Охранник повел нас строем к реке, там уже ждал небольшой речной буксир.

— Вот увидите, — снова завелась учительница, — нас заведут подальше и будут топить!

— Не слушайте ее, не поддавайтесь панике, этого не будет, — вступилась я, — мы ведь хорошо работали и вернемся домой! Переговорив с рулевым, охранник велел подняться на буксир. Как только все уселись, пароходик отчалил.

— Куда нас везут? — попеременно спрашивали стражника смертельно напуганные женщины. Он уклонялся от ответа. Мы сидели подавленные, ожидая в любой момент ужасной расправы. Но судно все шло, мотор монотонно гудел, и, наконец, вдалеке показались знакомые очертания Риги. Мы так обрадовались в тот миг, как будто в этом городе совершенно не было фашистов.

Буксир подошел к берегу, и охранник объявил, что можем идти по домам. Мы засияли, бросились целовать друг друга, даже учительница и та переродилась: плакала от радости, казалось, не веря еще словам охранника. Мы сердечно простились и разошлись по домам.

Я пошла на свою старую квартиру, надеясь встретить сестер или хоть найти записку от них, узнать, пытались ли они бежать, догадаться по каким-нибудь приметам, уехали ли они. С такими мыслями я подошла к дверям своей квартиры, на них висела бумага, где крупным немецким шрифтом было написано: "*Beschlagnahmt*". «Опечатано».

1 См. примечание 1 на с. 12. 25 июля 1941 года в Риге началась регистрация евреев. Зарегистрированным выдавалась особая регистрационная карточка с предписанием носить на груди слева желтую шестиконечную звезду диаметром 10 сантиметров. (Это правило было введено с 28 июля.)

Значит, моя квартира и имущество теперь принадлежат немцам. Как быть? Я решаюсь пойти в префектуру. Захожу туда и обращаюсь смело к дежурному «повязочнику». Объясняю ему, что с группой евреек только сегодня приехала с полевых работ у Елгавы, мы там добросовестно трудились полтора месяца, а теперь не могу попасть в свою квартиру, она кем-то занята, я хочу лишь взять кое-что из самых необходимых вещей: пальто, платье, полотенце; остальное: обстановка, мебель да и сама квартира — меня не интересует. «Повязочник» пристально осмотрел меня и принялся рыться в каких-то книгах, листая страницы, сверяя списки. Затем он сказал:

— Да, точно, сходится, вы действительно сознательно работали. Подождите здесь немного, я пойду вместе с вами, посмотрю, в чем дело.

«Повязочник», в отличие от других шуцманов, показался мне человечным, назвал свою фамилию и разговаривал корректно. Я привела его к дверям своей квартиры. Свипсте, — фамилия этого шуцмана — уставился на миг в объявление и тут же решительно позвонил. Открылась дверь, и на пороге появилась молодая латышка лет тридцати, одетая в мой черный костюм (этот костюм я и поныне храню, как реликвию). Выясняется, что эта фрейлейн, по фамилии Крисон, отныне является управляющей или владелицей всего нашего дома.

Мне ясно, почему она получила от немцев мою квартиру: это их подарок за кутежи, которые они с ней здесь устраивают.

В разговор между Свипсте и новоявленной хозяйкой об обстоятельствах ее прихода сюда и правах владения я тоже вставляю слово, обращаясь к моему провожатому:

— Вот этот самый костюмчик, который сейчас на ней, тоже мой. Она остолбенела, покраснела, сконфузилась, ей стало неловко. В конце концов такой грабеж евреев пока еще тоже незаконен. Я взглянула в глаза соперников. Каким ненавидящим завистливым взглядом они пожирали друг друга перед натаканными грудями чужого еврейского добра.

Выясняется, что где-то в другом месте управляющая сделала настоящий склад награбленных вещей из еврейских квартир нашего дома. Это еще больше разожгло зависть Свипсте, и он приказал ей в тот же день немедленно оставить мою квартиру.

Мне же он разрешил здесь жить и дальше. Все же я боялась оставаться в своей квартире: кто знает, что управляющая может выкинуть.

Я поспешно сложила немного белья, пару платьев, забрала пальто и оставила квартиру. Перед уходом я забежала к дворнику. Увидев меня, дворник и его жена пришли в замешательство.

Жена дворника пустилась в рассказы о проделках фрейлейн Крисон и буквально расцвела от восторга, услышав о ее позоре.

— Лучшие еврейские вещи всего этого дома попали к ней, — возмущалась жена дворника.

— Меня не интересуют вещи, — возразила ей, желая, наконец, прекратить этот поток слов.

— Хорошо, но почему ей одной досталось так много! — не унималась моя собеседница.

— Это вам лучше знать! — ответила я и вышла.

— Кто бы взял меня к себе жить? Пойду к Соне Бобровой, — думаю я, — она моя очень близкая подруга и будет рада принять меня к себе.

Урожденная Тагер, Соня Боброва с мужем и дочкой жила в доме на углу улиц Красноармейской¹ и Авоту. Она действительно от души обрадовалась мне, мы давно не виделись, еще долго до начала войны. Я рассказала обо всем, что со мной приключилось, обо всем пережитом, о страхе и мытарствах.

Соня первым делом приготовила мне ванну, и впервые за это долгое время я расчесала свои длинные волосы. Я ожила. Всю одежду, что я носила в деревне, пришлось выбросить — она уже расплзлась на теле, почти сгнила. После всего того, что пришлось перенести, живя в хлеву в ежедневном страхе смерти и изнемогая от непосильной работы, — даже одна ночь у моих добрых гостеприимных друзей, на чистой постели, в тепле, и та показалась бы мне недостижимым блаженством. Я бы никогда этого не поняла до войны. Но недолгим было мое блаженство. Я попросила Соню рассказать мне о событиях в Риге, которые произошли в мое отсутствие. Я хотела знать о положении евреев, хотела знать, что происходило и чего можно еще



Соня Боброва. 1928 г.

¹ Сарканармияс (Красноармейская) — так в 1940—1941 и 1944—1990 годах называлась улица Бруниниеку (историческое название — Рыцарская).



Руины Большой хоральной синагоги в Риге. 40-е гг.

ожидать. Несмотря на усталость, я долго не могла уснуть. Все услышанное даже мне казалось кошмаром, мне, которой суждено было уже так много испытать. Почти все синагоги в Риге были осквернены и уничтожены¹, многие из них являлись шедеврами архитектуры, памятниками старины: например, знаме-

1 4 июля силами «команды Арайса» (см. примечание 2 на с. 3—4) и местной вспомогательной полиции были сожжены несколько рижских еврейских культовых строений вместе с согнанными в них евреями: Старо-Новая синагога на улице Маскавас, 57, «Райсише-миньяним» (Белорусская синагога) на улице Элияс, 15, Солдатская синагога на улице Краславас (Палисадес), 24 (22), молельня и покойницкая на Старом еврейском кладбище (улица Ликснас, 2/4) и др. В Большой хоральной синагоге (улица Гоголя, 25) были заживо сожжены около 400 евреев, среди которых было много беженцев из Литвы, в том числе дети. В синагоге на улице Стабу, 63, — около 30 человек. Такая же судьба в этот день постигла и ряд других синагог. Молельня и покойницкая на Новом еврейском кладбище Шмерли были сожжены 7 или 8 июля. Пытавшихся сопротивляться или выпрыгнуть из охваченных огнем зданий коллаборационисты убивали дубинками.

нитая хоральная синагога по улице Гоголя¹, Старая синагога на улице Московской² и другие — все они были взорваны и сожжены вооруженными латышскими фашистами, хватавшими прохожих и живущих по соседству евреев, загоняя их в огонь молитвенных зданий.

В то время, как одни корчились в муках, сгорая заживо, издавая нечеловеческие душераздирающие вопли, других евреев под дулами пистолетов заставляли подливать в пламя, где горели, быть может, их близкие, бензин, керосин, подносить к стенам дрова, солому.

Во дворе синагоги на улице Гоголя, когда ее жгли, было много повозок: во всех молитвенных залах, гардеробе и других помещениях разместились десятки людей — женщин, мужчин, детей, стариков, — это были беженцы из Литвы, не успевшие вырваться из фашистских лап, застигнутые немцами вблизи Риги. Все выходы храма были наглухо заколочены. По тем, кто пытался выпрыгнуть из окон, стреляли. Неистовые крики были слышны далеко вокруг. Никто не спасся из пламени.

Известного молодого раввина, любимца рижан Килова³ «перконкрустовцы» специально привезли с другого конца города, чтобы вместе с другими живьем спалить в огненном пекле его синагоги на улице Столбовой, 63⁴.

- 1 Большая хоральная синагога на улице Гоголя, 25, в месте ее пересечения с улицей Дзирнаву, построенная в 1871 году в архитектурных формах стиля ренессанс (архитектор П. Харденак), была самой большой и красивой в Риге. В 1993 году на ее месте был сооружен мемориал.
- 2 Имеется в виду Старо-Новая синагога (идиш *Алтенайе-шул*) на улице Маскавас, 57, существовавшая с 1780 года. В 1843 году было построено каменное здание, которое в 1880 году было перестроено в архитектурных формах романского стиля (архитектор Р. Шмелинг). После войны здание было восстановлено как жилой дом.
- 3 Килов Израиль Мойша (1891—1941) — раввин, окончил раввинскую семинарию в Польше. Раввин в Талсы с 1934 года, позднее раввин в Риге. 4 июля вошел в пылающее вместе с согнанными в него людьми здание синагоги на улице Стабу, 63, чтобы разделить участь своих прихожан.
- 4 Синагога «Зойлен-шул», или «Зейлен-шул» (по прежнему названию улицы Стабу (Столбовой) — по-немецки Зойленштрассе) была построена в архитектурных формах романского стиля (архитектор Р. Шмелинг) и открытая примерно в 1906 году. После войны здание было перестроено под учреждения, в середине 90-х годов возвращено Рижской еврейской религиозной общине.



Израиль Мойша Киллов. 30-е гг.



Шмуэль Мордух Минц. 1925 г.

Подобная участь постигла и другие святые места рижского еврейства — сгорели молельни на обоих еврейских кладбищах. На Новом кладбище в Шмерли¹ фашисты сожгли весь обслуживающий персонал «Хевра-Кадиша»² и их семьи вместе со специальными помещениями, где обмывали и облачали в саван покойников. Там же погиб с женой и детьми известный рижский кантор и музыкальный педагог Минц³.

- 1 Новое еврейское кладбище в Риге (исторический район Шмерлис, ул. Лизума, 4) было заложено в середине 1920-х годов, хоронить на нем начали в конце 20-х годов. После войны разрушенные культовые строения на кладбище были восстановлены. В настоящее время кладбище является действующим.
- 2 «Хевра-Кадиша» (др.-евр. «Священное товарищество») — организация, принимающая на себя заботу об умерших; погребальное общество.
- 3 Как выяснилось недавно, в домовых книгах с территории Рижского гетто оказались прописанными Малка, Ася, Бетти и Маша Минц, у которых в качестве предыдущего места жительства указан адрес Нового еврейского кладбища. Следовательно, члены семьи Минц были живы еще по крайней мере осенью 1941 года (см.: *Мелер М. Места нашей памяти: Еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. Рига, 2010. С. 332*).

Даже на Старом кладбище¹ на Московском форштадте², где уже в течение последних десяти лет не хоронили никого, местные инквизиторы уничтожили все постройки, загнав в них перед взрывом десятки несчастных людей.

В пожарах тех дней погибли многие видные люди, которых случайно схватили на окрестных улицах у горящих зданий синагог.



Руины молельни на Старом еврейском кладбище в Риге, сожженной 4 июля 1941 года. Впоследствии были снесены. 40-е гг.

- 1 Старое еврейское кладбище, существовавшее с 1725 года, находившееся в Московском форштадте (см. примечание 2) между улицами Самарина (ныне Ломоносова) и Маскавас. В 1883 году были возведены кладбищенские ворота, а годом позднее территория кладбища была обнесена кирпичной стеной. В 1903 году на кладбище была построена молельня, а в 1905 году — покойницкая (архитектор обеих — П. Мандельштам). 4 июля 1941 года были сожжены все имевшиеся на кладбище строения. На протяжении существования Рижского гетто (кладбище входило в его черту) оно было одним из мест казни «провинившихся». Вместе с убитыми на улицах гетто и по пути к местам массовых расстрелов в Румбуле под Ригой 30 ноября и 8 декабря 1941 года, покончившими с собой, а также участниками действовавшей в гетто группы Сопrotивления (31 октября 1942 года) на нем захоронены около 2000 узников гетто. Кладбище не сохранилось: в 1960 году надгробия на кладбище были снесены и на его месте устроен Парк коммунистических бригад. В 1994 году там был установлен памятный камень и восстановлено название «Старое еврейское кладбище».
- 2 Московский форштадт (нем. *Vorstadt* — предместье) — часть нынешнего Латгальского предместья Риги, где в XVII веке находилось русское подворье, а у пересечения нынешних улиц Лачплеша и Маскавас было создано первое в городе еврейское подворье (впервые упоминается в 1638 году, в то время находилось за городской чертой). В дальнейшем и вплоть до Второй мировой войны в этом районе была сосредоточена значительная часть русского и еврейского населения Риги.



Сарра Рашина. 30-е гг.

В те дни сожгли Сарру Рашину, известную в Европе скрипачку рижанку¹.

Ужас охватил меня, когда я слушала о чудовищных злодеяниях по отношению к нашему несчастному народу. Мой ум не вмещал рассказанного, никакая фантазия не могла нарисовать то, что пришлось пережить людям перед кошмарной смертью, понять боль и муки близких, родных, видевших все это. Но, как видно, страдания и пытки безмерны и безбрежны.

Чудовищной была судьба евреев и в провинции. Известия о городках и местечках еще были обрывочны и случайны, но уже было ясно, что еврейское население там полностью уничтожили во время массовых

казней, совершенных местными фашистами под началом эсэсовских хозяев. Лишь в таких крупных городах, как Либава²,

1 Рашина Сарра (1920—1941) — скрипачка. Родилась в Елгаве. Игре на скрипке начала учиться в четырехлетнем возрасте, а в 12 лет в 1932 году дала свой первый сольный концерт в Елгаве и в том же году была принята в Латвийскую консерваторию, которую окончила в 1937 году (ученица проф. А. Меца). Будучи студенткой и впоследствии много концертировала в Латвии и европейских странах, в 1937 году стала дипломанткой Международного конкурса в Брюсселе. В 1938—1939 годах совершенствовалась у венгерского скрипача К. Флеша. В богатом репертуаре артистки были представлены различные музыкальные стили, она с успехом исполняла скрипичные концерты Дж. Виотти, В. А. Моцарта, И. Брамса, П. И. Чайковского и А. К. Глазунова, сонаты Г. Ф. Генделя, Дж. Тартини, Н. Паганини и С. Франка. По другой версии, погибла в акции массового уничтожения узников Рижского гетто 30 ноября 1941 года.

2 Либава — историческое названия города Лиенаи. По данным последней предвоенной переписи населения (1935 год) в городе насчитывалось 7379 евреев (12,9 % населения). По крайней мере

Двинск¹, уцелело еще какое-то количество евреев. Некоторые знакомые латыши рассказывали, что при въезде в Тукумс, Елгаву, Бауск и другие небольшие города уже вывешены плакаты с надписью «Юденрайн»², что значит: в них более нет ни одного еврея³.

Уже с первых дней оккупации между евреями и окружающим миром пролегла невидимая стена отчуждения и изоляции. Евреям было запрещено покидать места жительства, а латыши, как правило, избегали с ними общаться, большей частью вообще ничего не рассказывали, быть может, многие из них стыдились говорить о злодеяниях своих соплеменников. Узнать, что происходит даже вблизи Риги, не говоря уже об отдаленной

около 5000 из них были уничтожены в ходе нескольких акций в 1941 году (крупнейшая — в дюнах Шкеде в декабре). В созданном в городе в 1942 году гетто насчитывалось около 800 узников. Осенью 1943 года они были переведены в концлагерь Кайзервальд в Риге. Этот концлагерь в рижском районе Межапарк, занимавший территорию между проспектом Виестура и железной дорогой, начал строиться летом 1943 года, после того как 21 июня рйехсфюрер СС Г. Гиммлер издал приказ о ликвидации всех гетто в рейхскомиссариате Остланд (куда входила и Латвия) и переводе всех евреев в концентрационные лагеря. Лагерь был построен силами заключенных, привезенных из концлагеря Заксенхаузен (в 30 километрах севернее Берлина), — преимущественно немцев и поляков, и в основном ничем не отличался от других нацистских лагерей массового уничтожения.

- 1 Двинск — название города Даугавпилса (~240 км от Риги) в 1893—1920 годах. Гетто, созданное в городе уже 15 июля 1941 года, насчитывало около 14 тысяч узников (по другим данным, на сентябрь 1941 года, — 23 048) — жителей города и окрестностей. «Большое гетто» было уничтожено в ходе акции 1 мая 1942 года, «малое» (трудоспособные узники) просуществовало до 28 октября 1943 года; почти все его узники были уничтожены, оставшихся перевели в концлагерь Кайзервальд в Риге (см. предыдущее примечание).
- 2 Нем. *Judenrein* — букв. «очищено от евреев».
- 3 Еврейское население в малых городах, местечках и сельской местности Латвии (около 30 тысяч) было в основном уничтожено до конца лета 1941 года силами главным образом «команды Арайса», «самоохраны» и местной вспомогательной полиции. Если в крупных городах — Риге, Даугавпилсе и Лиенае в первые месяцы оккупации уничтожение носило в некоторой степени избирательный характер и здесь существовала какая-то вероятность спасения, то в малых городах, местечках и сельской местности оно было тотальным.

провинции, было крайне трудно. Некоторые евреи, привезенные с принудительных работ из других мест Латвии, знали, что происходило в малых городах и деревнях, но предпочитали отмалчиваться — то ли потому что не хотели распространять траурные вести, какими была полна и сама Рига, то ли просто не желая вызывать бессмысленную панику и тревогу.

Слушая страшные рассказы, я задавала сама себе вопрос: почему убили всех евреев в провинции, а в Риге уничтожили лишь часть? В чем преимущество рижских евреев по сравнению с их братьями из других мест? Быть может, те пали жертвой той погромной волны, которая унесла и несколько тысяч евреев-рижан в первые дни июля? Или... страшно подумать! Боже мой, неужели нас ждет их ужасная судьба?

Неужели нет выхода, нет спасения?..

ГЕТТО

В начале августа на мрачном рижском небе блеснул для евреев лучик надежды. Из Центральной тюрьмы освободили несколько десятков врачей и ремесленников, которых арестовали сразу же с приходом немцев. Хотелось верить, что и тысячи других узников еще живы и вернутся домой.

Но рассказы этих немногих уцелевших и освобожденных из тюрьмы не оставляли места надеждам. Большими группами арестованных непрерывным потоком в течение многих дней куда-то увозили из Центральной тюрьмы, и никто не вернулся. Об их судьбе впоследствии поведали местные жители района Бикерниеки, рассказавшие, что в течение всего июля мимо них везли людей на грузовых машинах, а из соседнего леса непрерывно доносилась ружейная пальба. Назад машины возвращались пустыми. После этого никто больше не сомневался, что именно там, в Бикерниеком лесу¹, фашисты убивали этих людей.

Но что могло значить освобождение группы портных, сапожников и других? Допустим, они нужны немцам для военных мастерских. Ну, а врачи? Ведь евреям-врачам запрещено лечить «арийцев», точно так же, как и врачи «арийцы» не впра-

1 Бикерниецкий лес — район Риги, где уже в июле 1941 года местные пособники гитлеровцев расстреляли первые несколько групп евреев; в целом там было убито несколько тысяч местных и привезенных из других европейских стран евреев, а также советских активистов, антифашистов, пленных красноармейцев — всего, по данным судебного процесса 1946 года (Рига), более 46 тысяч человек; по оценкам современных историков, число убитых и погребенных там латвийских и иностранных евреев колеблется около 20 тысяч, а жертв всех категорий — около 35 тысяч человек. В 2001 году в Бикерниеком лесу был открыт мемориал.



Мемориал в Бикерниекском лесу

Московской улице, на углу с Ливанской. И, вероятно, для работы в этой амбулатории освободили из тюрьмы нескольких врачей.

Все мероприятия по изоляции евреев от «арийского» мира немцы осуществляли через так называемый «Еврейский комитет» — «юденрат»¹, якобы созданный ими для осуществления самоуправления. Некоторые члены «юденрата» пытались кое-что сделать для облегчения участи терроризируемых евреев, обращаясь в какие-то немецкие инстанции. Но вскоре выяснилось, что вся эта затея с «комитетом» — сплошная фикция для надувательства и более организованной расправы с обреченными жертвами.

На другой день я снова решила пойти к себе на квартиру. По дороге вижу евреев. Они с желтыми шестиконечными звезд-

1 *Judenrat* (нем. «еврейский совет») — орган, учреждавшийся нацистскими оккупационными властями для управления еврейским населением отдельных населенных пунктов, который состоял из евреев, назначенных властями, и отвечал за исполнение приказов, касавшихся евреев. «Юденрат» должен был обеспечить тысячи изгнанных из своих квартир евреев жильем на территории гетто, медикаментами и т.п., организовывать по требованию оккупантов рабочие команды. В Риге «юденрат» был сформирован в августе 1941 года, еще до создания гетто, и официально назывался “*Židu komiteja*” («Жидовский комитет»), его возглавлял адвокат Михаил Эльяшов. Почти все члены комитета впоследствии погибли вместе с остальными узниками гетто.

дами на груди и спине. Мне странно видеть пешеходов, шагающих по мостовой и избегающих тротуаров¹. Я же по привычке иду по тротуару. Меня останавливает пожилой еврей и настойчиво поясняет:

— Должно быть, вы приезжая и еще не знаете, что нам, евреям, уже давно запрещено под страхом строгой кары пользоваться тротуаром. Берегитесь, могут заметить и донести.

Я сошла с тротуара, внимательно наблюдаю картину. Евреи ходят по мостовой, вернее, по обочине, совсем рядом с тротуаром, чтоб не попасть под колеса автомашин, не угодить под копыта лошадей.

В глазах «арийцев» такое унижение, видимо, должно служить иллюстрацией превращения «неполноценной расы» в мире «новой Европы» в скот.

Вытянувшись вереницей, будто гуси, евреи, помеченные желтым пятном, словно прилипшим осенним листом, шагают отдельно. Впервые увидев это гусиное шествие, я невольно улыбаюсь, хоть положение это глубоко трагично.

Я подошла к своим дверям. Прислушалась. Тихо. Позвонила. Вышла управляющая. Согласно приказу Свипсте, фрейлейн Крисон, нехотя, скрепя сердце, но все же возвращает мне ключ и убирается.

Я начала осматривать вещи, пытаюсь понять, что могло случиться с сестрами. Но обследование не принесло мне утешения. Напротив, по комнатам разбросаны такие вещи, что, по моим предположениям, в дорогу они бы их непременно должны были взять.

В моей комнате царит полный беспорядок, повсюду хлам и всякое барахло, стоит грязь и вонь. Лучшие вещи разграблены.

Мне страшно оставаться здесь надолго. Я думаю, к кому бы пойти из моих хороших знакомых латышей и предложить им получить мое «наследство». Останавливаюсь на Межулис — это моя хорошая знакомая, довоенная заказчица. Пошла туда. Она живет за Двиной. Мы тепло поздоровались, и я поведала ей о своих страшных переживаниях. Я предложила ей пойти взять себе кой-какие мои вещи и отрезы у Крисон, явившись к ней в качестве моей заказчицы, которая пришла за своим материалом. Уяснив приметы каждой вещи, цвета и типы тканей,

1 Одним из ограничений, налагавшихся на евреев нацистским режимом, был запрет ходить по тротуарам и пользоваться общественным транспортом. Им следовало передвигаться по проезжей части.

Межулис направилась к управляющей и получила от нее все, что просила.

Через некоторое время я еще раз пошла к себе. Я позвонила соседке Ламберт, которая жила в квартире напротив. Увидев меня, она очень разволновалась и рассказала, что прошлой ночью был страшный шум — меня искали. В мою дверь так сильно стучали, что все проснулись, и она тоже выглянула на лестничную клетку узнать, в чем дело. В дверь ломились двое «повязочников». Увидев испуганную женщину, они гаркнули, чтобы она немедленно скрылась с глаз, не то будут стрелять. А наутро выяснилось, что это были братья фрейлейн управляющей, фашисты-добровольцы, члены «Перконкруста». Это они пришли арестовать меня как коммунистку.

Сама Крисон затем приходила и бахвалилась перед жильцами своим «высоким родством» и «славными делами» ее братьев при новой власти.

— Ваше счастье, — закончила сочувственно соседка, — что вы не ночевали у себя: эти звери не выпустили бы вас живьем! Мне ясно, что здесь я больше не должна появляться.

*

Мне нужно было срочно устроиться куда-нибудь на работу. Согласно приказу все трудоспособные евреи обязаны были работать. Соня Боброва пристроила меня прислугой к немецкому офицеру, расположившемуся со своим адъютантом в квартире ее брата, в доме на углу улиц Елизаветинской — Юмарас. Брата Сони арестовали в первые дни оккупации и расстреляли, но жена его с ребенком успели эвакуироваться. Таким образом, из всей семьи в квартире Сониного брата осталась одна старенькая мать.

Я обязана была убирать квартиру офицера, стирать белье и выполнять прочие обязанности прислуги. Сперва мне было нелегко, пока я, наконец, не свыклась с педантизмом немца и его привычками. Денщик учил меня делать все по немецким правилам. Ни платы, ни еды за труд, как и любой из евреев, я, понятно, не получала. Тем на менее моей «должности» могли бы позавидовать многие, например работающие целыми днями на восстановительных работах под открытым небом и перетаскивающие на себе камни, а также многие и многие евреи, согнанные в различные немецкие воинские учреждения и тоже не получающие ни гроша за каторжный труд.

Однажды я возвращалась с работы домой. Навстречу шел мальчуган в школьной форме. Поравнявшись со мной, он неожиданно подскочил ко мне и в ярости со всей силы ударил

меня ногой в живот так, что я свалилась на землю, распластавшись на мостовой. Я разрыдалась, но скорее от боли душевной, чем физической. На углу стоял полицейский-шутман. Я поднялась и подошла к нему пожаловаться на подростка.

— Кто это был — еврей или нееврей? — спросил он, как будто готовый заступиться.

— Но кто бы это ни был, это же хулиган. Посмотрите, вот он еще стоит там, кажется, он латыш, — продолжала я возмущаться. В ответ он рассмеялся и самодовольно сказал:

— Он мог с тобой сделать что угодно — плюнуть в лицо, задушить — все, что ему вздумается, это его право. Он здесь хозяин.

Мне делается страшно: такие могут пойти на все.

*

Мой офицер живет в веселье и довольстве. Ежедневно к нему приходят латышские фрейлейн. Они запираются, кутят день и ночь.

Однажды утром, придя на работу, я застала нескольких девочек, которые так нагадили в туалете, что туда просто невозможно было войти.

Увидев меня, они злорадно завизжали, и одна из них, перед тем как хлопнуть дверью, нагло бросила мне:

— Ну, «юдша»! Иди убери все в уборной, чтоб все было чисто, тебя ждет работа! — Девки заржали весело с издевкой.

Как-то офицер пришел расстроенный и, будто нехотя, сказал, что мне придется оставить его: вышел новый приказ — уволить евреев, работающих на частных лиц. Он ходил взад-вперед по комнате, размышляя вслух:

— Жаль, жаль, очень прилежная женщина. Послушай, а может быть, ты не совсем еврейка? Может быть, в тебе течет хоть немного арийской крови? А? Я бы смог тогда добиться, чтобы тебя оставили у меня, сказал бы, что ты моя любовница. Ну как? Ты же красивая женщина, не так ли?

— Нет, нет! Что вы? — отрицательно покачала я головой. — Я чистокровная еврейка.

— Жаль, очень жаль, тогда нам придется расстаться, — сокрушенно повторил он несколько раз.

Так я потеряла рабочее место и одновременно с ним пропуск в город — «аусвайс»¹. Спустя несколько дней я узнала, что

1 Нем. *Ausweis* — удостоверение личности.

это было связано с приказом об обязательном переселении всех евреев в гетто где-то на Московском форштадте¹.

Никто не понимал еще тогда даже смысла слова «гетто»: оно казалось каким-то всеобщим, крылатым, было у всех на устах. Кого ни встретишь — только и слышишь: «гетто», «гетто», «надо переезжать в гетто», «как будем жить в гетто». И все в этом же духе.

Мы с Соней Бобровой решили держаться вместе и впредь. Мы пошли посмотреть гетто, подыскать себе жилье.

Для гетто отгораживали колючей проволокой небольшой район от улицы Лачплеша вдоль Лудзас до Старого еврейского кладбища.

Район гетто — самый бедный, это запущенная часть города². Здесь и раньше проживало много бедных евреев, но в основном в этом районе жили русские рабочие, кустари, ремесленники. Жилищные условия в этом районе гораздо хуже, чем в других районах Риги. Во многих домах нет ни водопровода, ни

канализации, ни электричества, не говоря уже о газе, центральном отоплении. Домишки здесь старые, низкие, много ветхих деревянных.

Так как неевреи не имеют теперь права жить бок о бок с евреями, видимо, всех их переведут из отгороженного гетто в освободившиеся квартиры евре-



«Черным обозначены кварталы, в которых предусматривается разместить всех рижских евреев». План из газеты «Тевия» (23 августа 1941 г.)

1 О создании в Риге гетто было объявлено 23 августа 1941 года. Переселиться в него рижские евреи должны были до 25 октября 1941 года.

2 Начальные границы Рижского гетто («большое гетто») проходили по улицам Лачплеша, Екабпилс, Католю, Лаздонас, Лиела Кална, Лауvas, Ерсикас и Маскаvas (Латгалес).

ев в «арийской» черте города¹.

Конечно, найдутся и такие, кто не захочет покинуть насиженные места — собственный дом с огородом, садом — и с кем-то меняться. Во всяком случае никто из них не будет внакладе, напротив, большинство выигрывает, перейдя в центр, в богатые еврейские дома с обстановкой, удобствами, со всем годами нажитым добром. Разве смогут евреи перенести все свое имущество в тесноту гетто: 30 тысяч человек на нескольких улицах?² В гетто полагается четыре квадратных метра на человека — не больше.

Мы ходим по улицам, где будет гетто, осматриваем каждый угол. Фашистская антисемитская газета «Тевия»³ описывает существующее уже два года Варшавское гетто⁴, как сущий рай для евреев: все там к их услугам, есть даже кафе и театры. Глядя на то, что творится вокруг, как перебираются сюда и ютятся



Ограда Рижского гетто. Надпись на немецком и латышском языках: «По лицам, которые перелезут через забор либо попытаются через забор установить связь с жителями гетто, будут стрелять без предупреждения»

1 Из выделенных для создания гетто кварталов потребовалось переселить в другие места около 7000 человек нееврейского населения.

2 Число узников гетто на 20 ноября 1941 года составило 29 602 человека.

3 «Tēvija» («Отечество») — нацистская ежедневная газета, издававшаяся на латышском языке на оккупированной гитлеровцами территории Латвии в июле 1941 — апреле 1945 года (сначала в Риге, затем в «Курляндском котле»).

4 Варшавское гетто, на территории которого в разное время в 1940—1943 годах проживало от 400 тысяч до 500 тысяч евреев, было беспрецедентным по своим масштабам. Для подавления начавшегося в нем 19 апреля 1943 года восстания гитлеровцам понадобилось несколько месяцев.



У еврейского магазина. Фото в газете «Тевия» (23 августа 1941 г.) сопровождается подписью: «Эта картина у жидовского магазина показывает, как они не умеют поддерживать порядок и в своей среде. Пока некоторые стоят в очереди, другие пытаются попасть в магазин без очереди»

и женщин. Я не зарегистрировалась и отсиживалась дома: за работу все равно не платят и не кормят. К 24 октября гетто было полностью отгорожено от внешнего мира двойным высоким забором из колючей проволоки, ворота центрального входа с улицы Садовникова тоже были перекрыты, рядом в будке поставили стражу, так называемую «ваху»¹. С этого дня свободное движение из «арийской» части в гетто и обратно было запрещено под страхом смерти².

1 Нем. *Wache* — караул, стража.

2 Ворота Рижского гетто закрылись 25 октября 1941 года.

обездоленные семьи и сироты, мы понимаем, что все эти описания — просто издевка.

Соня Боброва страшно переживает: у нее семья, старая мать, дочка — как они будут жить в гетто? У меня самой на сердце тревога, тысячи вопросов мучают меня, но я стараюсь утешить подругу, говорю ей, что постепенно устроимся здесь, будем жить, как тысячи других, помогать друг другу, работать и надеяться...

В гетто мы, наконец, разыскали квартиру на Лудзас, 37, и через несколько дней перебрались. Мне удалось взять еще кое-какие вещи из своей квартиры, а мебель и часть вещей я отдала соседке Ламберт и дворнику.

Из гетто в сопровождении гражданских латышей и немцев-военных ежедневно отправляются на различные работы в город большие колонны мужчин

Часто в гетто появляются пьяные эсэсовцы и всюду орудуют. Горе тому, кто попадает им на дороге под горячую руку. Немцы и латыши-фашисты безжалостно избивают, калечат прохожих, а то и просто пристреливают. С наступлением темноты, они врываются в дома, грабят, издеваются, увозят с собой людей, которых больше никто никогда не увидит.

У «вахы» строго контролируют и возвращающиеся колонны. Если фашисты обнаруживали у кого-нибудь продукты, их отбирали и на провинившихся обрушивали град ударов шуцманских дубинок. Многих таким образом засекли насмерть, многих пристрелили. С продуктами становилось все хуже, в магазин «выбрасывали» лишь немного гнилых овощей. Люди держались в основном на запасах, которые удалось пронести с собой в гетто, однако во многих домах уже начинался голод. Зима в 1941 году, как назло, была ранняя и суровая. С дровами было туго, так что к голоду должен был прибавиться еще и холод. «Как будем жить дальше?» — мучил всех вопрос.

Фашисты, однако, вскоре «избавили» гетто от подобных забот.

ПЕРВАЯ АКЦИЯ

28 ноября немецкие власти издали приказ о ликвидации гетто: женщины с детьми, пожилые и нетрудоспособные будут переведены в особый лагерь, работоспособные мужчины



оставляются в специально выделенном месте в гетто и будут использованы на работах в городе. Одновременно сообщалось, что переселенцы обязаны немедленно подготовиться в дорогу, с собой разрешается брать не более 25¹ килограммов вещей и продуктов на человека.

«Жи́ды за оградой гетто», — так подписано фото, сопровождающее статью «30 000 жи́дов за колючей проволокой — Рижское гетто» в газете «Тевия» (8 октября 1941 г.)

1 По воспоминаниям ряда других очевидцев — 20 кг. Об этом гласили плакаты, извещавшие также, что это перемещение должно будет начаться 30 ноября в 6 часов утра.

Приказ вызвал в гетто хаос и панику. Куда могут повезти столько народу лютой зимой и почти без вещей? Как эти люди смогут вынести дорогу, неизвестно куда, к тому же без отцов, взрослых сыновей — здоровых мужчин?

Но раздумывать некогда: назавтра (29 ноября) нужно быть готовым оставить гетто и пуститься в путь, куда-то в лагерь, — таков приказ.

Все гетто принялось лихорадочно готовить пакеты, рюкзаки, отбирать и складывать наиболее нужные вещи, продукты. Люди примеряли рюкзаки, тренировались в ходьбе с ними, оценивали по своим силам максимально возможный вес дорожных вещей. Особенно трагичным было положение женщин-матерей с совсем маленькими детьми на руках.

Страшную ночь пережило гетто с пятницы 28 ноября на субботу, последнюю ночь перед разлукой с родными, близкими — отцами, сыновьями, братьями. Люди предчувствовали, что это уже навсегда.

Оставляемые в гетто работоспособные мужчины обязаны были наутро собраться на углу Лудзас и Садовникова. Колонна простояла несколько часов, пока к часу дня не прибыл приказ: в течение получаса мужчинам перейти в «казернирунгслагерь»¹ — так называли специально отгороженный колючей проволокой район из нескольких домов на территории самого гетто, прозванный впоследствии «малым гетто»². Невозможно описать растерянность и ужас людей после каждого нового сообщения полицаев. Словно безумные, мчались мужчины к своим семьям еще и еще раз проститься, схватить кое-что из вещей, продуктов, передать что-то напоследок родным.

Большинство по прошествии первых дней оккупации думало, что именно над ними, трудоспособными мужчинами, готовится расправа и всячески старались переправить своих сыновей-подростков, младших братьев назад в «большое гетто», не предполагая, что как раз там разгорится пожар убийств.

У нас в квартире тоже все паковались, советовались, что из вещей нужнее в дороге, были страшно взволнованны, но пытались логично рассудить: если нас перевозят куда-то, где мы будем жить, то все равно всего нужного с собой не унести, а если... тогда ничего не понадобится.

У нас в квартире тоже все паковались, советовались, что из вещей нужнее в дороге, были страшно взволнованны, но пытались логично рассудить: если нас перевозят куда-то, где мы будем жить, то все равно всего нужного с собой не унести, а если... тогда ничего не понадобится.

1 От нем. *Kasernierung* — перевод на казарменное положение; поселение в доме-казарме (вид трудового лагеря у нацистов).

2 «Малое гетто» — особый трудовой лагерь на территории Рижского гетто, куда незадолго до ликвидации «большого гетто» (29 ноября 1941 года) были переведены около 4500 трудоспособных евреев-мужчин. «Малое гетто» просуществовало до 2 ноября 1943 года, а оставшиеся в живых его узники были переведены в концлагерь Кайзервальд (с филиалами) в Риге (см. примечание 2 на с. 48—49).

Мы решили взять самое необходимое — побольше теплых вещей натянуть на себя и взять еду на дорогу, все остальное — на произвол судьбы.

Во всех домах царила суэта и лихорадка. Некоторые метались, не зная, как поступить с драгоценностями — взять ли их с собой или спрятать. Одни зашивали золотые безделушки в детские одежды, другие, напротив, высматривали места в стенах, под полом или копошились во дворах, огородах, зарывая в спешке добро в землю, создавая таким образом сотни никому более не принадлежащих кладов.

Приближается вечер. Атмосфера все накаляется. Марширующие колонны вооруженных латышей-шукманов одна за другой наводняют гетто. Пьяные, с искаженными физиономиями, убийцы брезгливо смотрят на случайных прохожих, не в состоянии дожидаться сигнала к резне.

Отовсюду в гетто слышны отдельные выстрелы, с темнотой стрельба все учащается.

Часов в семь вечера в наш дом вбежали несколько шукманов и стали кричать, чтобы все сию минуту вышли на улицу и построились в колонну по пять в ряд. Смертельно напуганные, мы схватили приготовленные рюкзаки, пакеты и выбежали из дому. Улица Лудзас уже была полна народу. Мы смешались с нескончаемой колонной.

Стоял трескучий мороз, где-то неподалеку непрерывно стреляли. Простояв пару часов, мы страшно продрогли. Шукманов не стало, они куда-то убежали — вероятно, сгонять людей из других районов гетто.

Мы незаметно вернулись домой. Следом за нами в нашу квартиру зашли отогреться другие. Стало так тесно, что ни пройти, ни сесть. Люди просто столпились в тепле, кое-как примостившись у стен, окон, не снимая теплой одежды и рюкзаков, поминутно ожидая приказа тронуться в путь.

В ожидании проходит час за часом. От усталости засыпают дети, прикорнул кое-кто из взрослых, постепенно сон одолевает всех. Часов в семь утра, еще довольно темно, снова слышны крики латышских полицаев:

— Немедленно выйти на улицу!

Ошеломленные, напуганные спросонья, растормошенные, мы опять в страшной спешке выбежали из дома и построились в ряды. Вскоре, однако, появляется несколько «повязочников» и объявляют по рядам, что сегодня пойдут только те, кто проживает на улицах от Лачплеша до Даугавпилсской. Все остальные могут разойтись по домам.

Мы бросились назад, счастливые, что сможем хоть еще немного пожить дома, прийти в себя от страшной ночи. Сбросив рюкзаки, каждый хочет быстрее раздеться и прилечь отдохнуть.

Я стою у окна и смотрю, что творится на улице. Начинает светать. Я вижу, как непрерывным потоком движутся колонны людей, сопровождаемые вооруженными шукманами. Идут старые и молодые, женщины с детьми на руках и инвалиды, поддерживаемые идущими рядом. Но вдруг слышу очередь и прямо перед нашими окнами вижу нечто ужасное: немец-эсэсовец стреляет в упор по рядам, и скошенные пулями люди падают на мостовую. В колонне замешательство, толпа напирает, люди пытаются бежать и проскочить мимо озверевшего немца, топчут упавших. Многие уже бросили свои тяжелые пакеты, чтобы не отстать. А шукманы, не переставая, орут:

— Быстрее, быстрее! — и хлещут при этом нагайками тех, кто отстает.

Я крикнула во весь голос:

— Подойдите к окну, посмотрите, какой кошмар! Стреляют же евреев!

Но все так перепуганы, что не смеют двинуться с места, и кричат мне, чтобы я убралась с подоконника, иначе начнут палить и по нашим окнам. Я упрямо не отхожу от окна, стою, словно пригвожденная к месту, будто неведомая сила твердит мне: «Ты все это должна видеть!» Да и как можно на это не глядеть, когда в двух шагах за окном разыгрывается трагедия целого народа!

А люди все идут и идут без конца, не смолкает стрельба, и постоянно падает то один, то другой. Только около полудня прекратилось, наконец, это траурное шествие, и тут открылся весь ужас происшедшего: бесчисленные окровавленные трупы, в основном пожилых людей лежали вдоль всей улицы, меж ними растекались широкими потоками кровавые ручьи...

*

Через несколько часов улицу очистили, немцы приказали оставшимся в гетто евреям унести убитых на Старое еврейское кладбище, что рядом с гетто, и там закопать в одной общей яме. В тот раз были расстреляны в колоннах и по домам человек 700¹, в большинстве старики, больные, инвалиды, беремен-

1 В действительности в день первой акции массового уничтожения узников Рижского гетто — 30 ноября 1941 года на улицах гетто остались около 800 убитых, которые были захоронены на Старом еврейском кладбище (см. примечание 1 на с. 47).

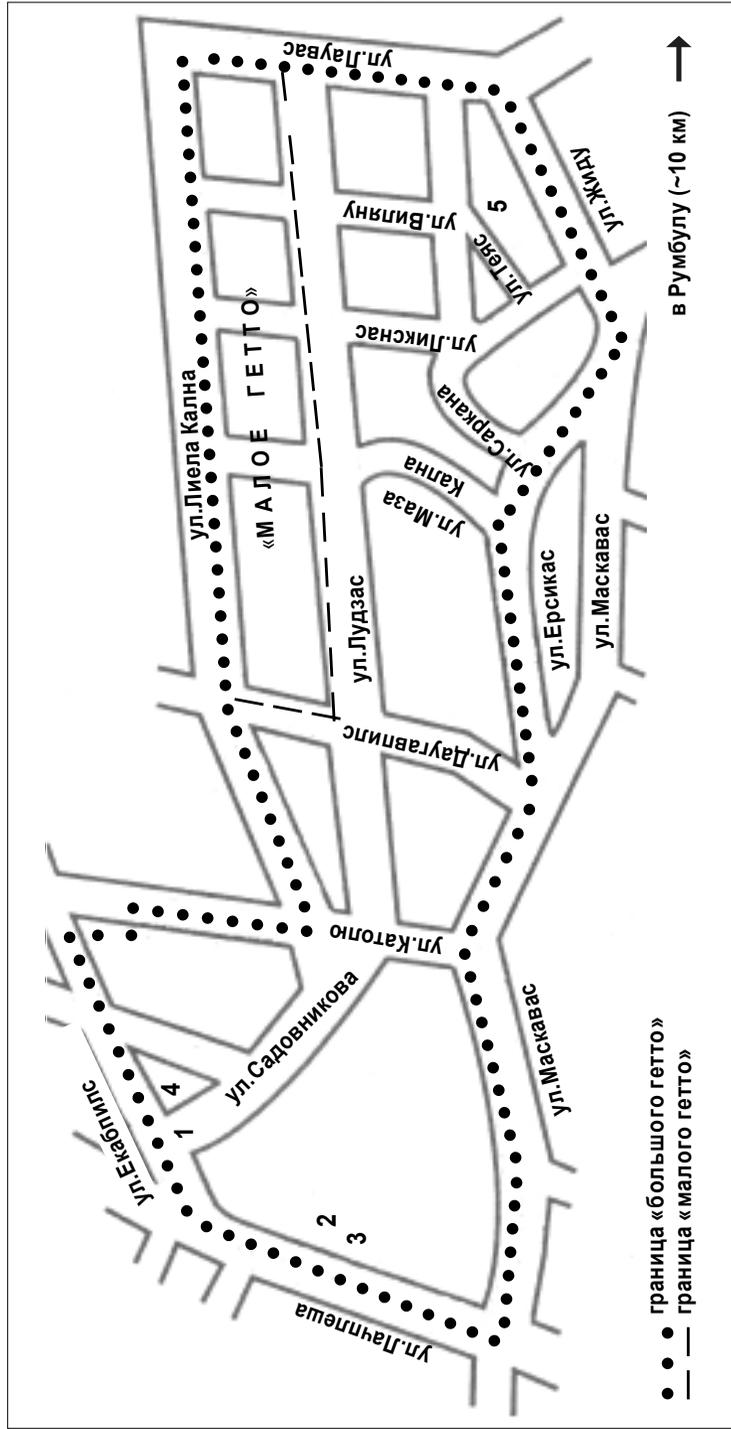


Схема Рижского гетто в период между двумя крупными акциями уничтожения (30 ноября — 8 декабря 1941 года): 1 — ворота «большого гетто»; 2 — «юденрат» и еврейская полиция; 3 — еврейская «биржа труда»; 4 — охрана гетто («вахы»); 5 — Старое еврейское кладбище

ные женщины — все те, кто не мог подняться с постели или выдержать нечеловеческий темп марша. Куда же погнали эти колонны?

Никто не мог ничего сказать толком, но каждый строил предположения. Носились слухи, что их повели куда-то в лагерь в районе Саласпилса¹. И люди верили, ибо страшно хотелось в это верить. Даже после ужаса виденного и пережитого все равно не верилось, что фашисты могли уничтожить столько народу разом. И оставшиеся в гетто все еще наивно думали, что самое главное — это избежать несчастной судьбы слабых, больных, стариков, не пасть под пулей из-за того, что не можешь быстро идти, старались лучше подготовиться к дороге, сложить только самое необходимое в пакеты, быть налегке, тренироваться в быстрой ходьбе.

На другой день по улицам гетто проехала открытая легковая машина с эсэсовским начальством. Был легкий мороз, и лужи

1 Саласпилсский концлагерь был местом заключения и массового уничтожения людей на оккупированной нацистами территории Латвии, находился в Рижском уезде. Начал создаваться в октябре 1941 года как место заключения евреев, вывезенных из европейских стран, однако с 1942 года туда стали заключать местных жителей и депортированных жителей западных областей России и Белоруссии. В их истязании участвовали как нацистские оккупанты, так и их местные пособники; широко практиковалось взятие крови у детей для нужд медицинской службы германских войск. Имеющиеся в литературе данные о количестве узников и жертв концлагеря противоречивы (в советских изданиях обычно указывается, что в лагере одновременно находились 14—25 тысяч узников, а число жертв составило 53 тысячи человек, в том числе 7 тысяч детей). Согласно новейшим исследованиям, в 1943—1944 годах в бараках концлагеря постоянно содержались 2000—3000 узников, число умерших не превышало 2000, а число прошедших через Саласпилс как транзитный лагерь не превышало 12 тысяч человек. В лагере содержались главным образом латыши, но в 1941—1942 годах было велико число евреев, а в 1943 — белорусов. При отступлении гитлеровцы, заметая следы своих преступлений, уничтожили лагерь, а часть его заключенных вывезли в концлагерь на территории Польши и Германии. В 1967 году на месте концлагеря был открыт Саласпилсский мемориальный ансамбль. См.: Саласпилс. 3-е изд. [Рига, 1982.]; Тимошенко Л. Дети и война. Даугавпилс, 1999. С. 211—244; Strods H. Salaspils koncentrācijas nometne (1941. g. okt. — 1944. g. sept.) // Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, 2000. R., 2001. 87.—153.l pp.



Фрида Фрид на Рижском взморье, облаченная в кимоно — образец ее портняжного мастерства. 1934 г.

крови примерзли. Стояла мертвая тишина — оставшиеся в гетто забились по своим углам, никто не смел выглянуть на улицу. Эсэсовское начальство укатило, видимо, довольное.

Несколько дней стоит в гетто эта необычная тишина — нет ни немцев, ни шуцманов, не слышно ни единого выстрела. Постепенно начинают появляться люди, поговаривают, что ничего подобного впредь не будет — выходит, надо жить нашей страшной жизнью в гетто и дальше. Все подавлены пережитым, но понемногу обреченные приходят в себя от шока, и начинаются будни гетто: жестко, экономно делят запасы продуктов на дни и недели, боясь предстоящего голода.

Мы тоже, подобно остальным, привели в порядок квартиру и хозяйство, однако решили оставить рюкзаки на всякий

случай нераспакованными. Снова открыли магазин. Если до этой акции жителям гетто выдавали в магазине по специальным карточкам крохи, то теперь оставшимся стали выдавать без всяких карточек и много капусты, картофеля, свеклы, моркови. Правда, качество их было низким, но люди, изголодавшись по овощам, спешили их разбирать.

Все чаще к оставшимся семьям нелегально, через лазейки в ограде приходят ненадолго проведать их близкие из мужского «малого гетто», рассказывая о горе своих товарищей, которым уже не к кому идти за забор.

В среду 3 декабря в гетто распространились новые слухи, будто требуются женщины-портнихи для работы в городе, их оставят в гетто и не будут отсылать в лагерь.

Людам свойственно искать пути к спасению. Нашлось много женщин, объявивших себя портнихами, но большинство из них не имели элементарных навыков в этом деле. Ко мне прибежали несколько женщин наскоро обучиться строчить на швейной машине, попрактиковаться в кройке и шитье. В тот

же день на улице Маза Кална (Малая Горная) началась регистрация портних. Когда я подошла туда, там уже стояла большая очередь — человек 300—400 женщин. После регистрации всем велели разойтись по домам, взять с собой продуктов дня на два и к определенному часу собраться на этом же месте, чтобы пойти затем в город.

Когда к вечеру мы явились с пакетами, там уже ждали шуцманов. Нас построили ровной колонной, и мы тронулись в путь. Шагая по «арийскому» городу, я замечаю, что многие жители, останавливаются и провожают колонну печальными взглядами. Некоторые даже плачут, вытирают слезы, видимо, в городе уже знали о трагичной кончине вывезенных из гетто евреев.

Нас провели по всему городу к тюрьме «Термиңциетумс»¹ у станции Браса. Продержав немного на тюремном дворе, нас завели на какой-то чердак, битком набитый людьми. Это были еврейки из гетто — портнихи, которых приводили сюда в течение нескольких предыдущих дней.

В тесноте люди буквально прижаты друг к другу. Сидеть можно было только на коленях соседки. Дверь открывалась только для того, чтобы втолкнуть новых людей. Воздух спертый, некоторые женщины падают в обморок. Воды не дают, и этих несчастных едва удается привести в чувство.

В такой давке мы пробыли целые сутки. Никто из охраны все не появлялся. Делясь друг с другом, мы поедали свои дорожные запасы, но ужасно мучила жажда. Казалось, нас специально сюда привели, чтобы замучить столь жестоким способом.

Однако на другой день, наконец, открылась дверь и послышался голос стражника:

— Кто хочет идти в камеру? Есть место для пятидесяти человек!

Многие хотели идти, я тоже вызвалась.

Стражник отсчитал пятьдесят женщин и повел нас вниз, в небольшую тюремную камеру. Теснота здесь оказалась не меньшей, чем наверху, на чердаке, вдобавок здесь было сыро, цементный холодный пол. Единственное глухое окошко камеры огорожено решеткой из стальных прутьев, дверь на замке.

Какая-то женщина шепнула мне на ухо, указав на одну из сидящих, что она подозрительный тип и с ней надо быть осторожной, ничего не болтать. Немцы, мол, сюда заслали провокатора-шпики.

1 Латвш. *Terņīcietums* — Краткосрочная тюрьма (т. е. тюрьма предварительного заключения).

Камеру охранял на этот раз не шуцман, а обычный надзиратель-тюремщик. Ни питья, ни еды и здесь не давали. Нар не было, стоял лишь длинный стол. На ночь часть нашей группы улеглась на нем рядами, по три-четыре в ряд, тесно прижавшись друг к другу. Всем места здесь не хватило, и большинству пришлось лечь на полу.

Наутро в камеру вошел надзиратель и потребовал, чтобы ему отдали рапорт. Мы не поняли, что это значит, как докладывать, стали его переспрашивать. В ответ он набросился на нас, площадная брань и мат висели в воздухе. Мы-де «недисциплинированные жидовки», и нас надо расстрелять, но, побушевав еще немного, он ушел.

Настали вторые сутки. Невыносимая атмосфера совершенно сломала и измотала нас. Как долго это может еще длиться? Каждый час, проведенный взаперти в затхлой камере, казался мучительной вечностью. Прошло еще полдня. Вдруг лязгнул замок, открылась дверь, и надзиратель приказал всем оставить камеру.

Одна женщина в ужасе крикнула, что нас поведут на расстрел. Поднялась паника, женщины зашумели, заметались, боялись выходить.

Я не верила, что это — к расстрелу: немцам была бы ни к чему вся эта возня с нами. Расстрелять они могли нас и раньше. Я стала успокаивать взволнованных женщин и первой покинула камеру. Это немного приободрило остальных, и вся группа вышла и построилась.

Пройдя двор, мы вошли в какое-то административное тюремное здание и очутились в большом коридоре.

Здесь стояло в очереди много евреек. У окна сидели немцы в военной форме и сортировали женщин — одних направо, других налево.

На работу портнихами определили лишь женщин, оказавшихся в правой группе.левой группе объявили, что их поведут назад в гетто.

Когда дошел мой черед, я предъявила немцу-офицеру, начальнику этой селекционной комиссии, мой рабочий диплом закройщицы, но он, почти не глядя в него, приказал становиться налево. Я еще пыталась ему объяснить, что я портниха со стажем, очень опытная, могу выполнять любую работу, но напрасно — он меня больше не слушал и занялся следующей.

Вскоре после сортировки нас, «левых», повели назад в гетто. Было 5 декабря. В гетто все еще стоит мертвая тишина. Людей на улицах мало, ставни на всех окнах закрыты, без нужды никто не выходит из дому. Так проходит еще два дня тишины, редкой для гетто.

ВТОРАЯ АКЦИЯ

Вторник 7 декабря. В гетто царит особенное спокойствие, некоторые из «малого гетто» вообще уже перебрались к своим семьям и не возвращаются назад, занимаются своими делами: колют дрова, таскают воду.

И вдруг часа в четыре дня, словно неистовый ураган, облетело гетто новое известие: сегодня вечером переселят всех остальных оставшихся. Работоспособным мужчинам приказано немедленно вернуться в свой «казернирунгслагерь»¹, всем другим быть наготове с вещами.

Опять лихорадка и потрясение, снова паника. Люди вторично прощаются со своими близкими, стоит плач и рыдания. Мужчины напутствуют своих держаться вместе, помогать один другому, велят брать как можно меньше вещей и, ради Бога, стараться выдержать темп марша колонн. Точь-в-точь, как накануне первого «переселения», гетто оглушается выстрелами, очевидно, чтоб снова запугать и парализовать жертвы.

Часов шесть вечера. Уже довольно темно. С улицы доносятся крики шуцманов: всем выйти из домов.

В спешке мы хватаем давно приготовленные небольшие рюкзаки и выбегаем на улицу.

Латышские полицаи злобно кричат, приказывая становиться по пять в ряд. Я становлюсь рядом с Соней Бобровой, ее дочуркой и старой матерью. Так мы стоим неподвижно около часа.

Счастье, что мороз отпустил, на улице не так холодно. Но вот подходит один шуцман и объявляет, что матерей с маленькими детьми и стариков на этот раз повезут на санях, они пусть выстраиваются отдельной колонной. Моя подруга, ее мать и свекровь договариваются ехать. Мы прощаемся с тяжелым

¹ Имеется в виду «малое гетто».

сердцем и страшным предчувствием. Я настойчиво убеждаю их крепко держаться вместе, ни в коем случае не упускать друг друга из виду.

Нас, оставшихся в большой колонне, вскоре стали гнать вдоль улицы Лудзас. На углу Ликснас было приказано зайти в большое трехэтажное белое здание. Но там уже столпилось так много людей, что началась страшная давка на лестницах и внутри. В такой толчее, не сомкнув глаз, мы простояли всю ночь.

С самого утра 8 декабря снаружи опять слышались крики шуцманов, приказывающих выходить из домов. За окном темень. Людская масса мгновенно вздрогнула, пришла в движение; начала высыпать на улицу. У выхода во двор стояли два шуцмана и требовали драгоценности. Кто-то в страхе снимал кольца, бусы, давал деньги.

Это был, вероятно, акт нелегального грабежа латышских шуцманов втайне от их немецкого эсэсовского начальства.

По улице Лудзас длинные колонны евреев двигались в сторону Ликснас. Здесь на углу у поворота стоял немец с дубинкой и приказывал сбрасывать на землю в кучу пакеты. Я вижу, как молодая мать с ребенком просит немца оставить ей рюкзак. Она объясняет, что внутри только немного еды для ее малыша.

— Там вы все будете хлебать из одного котла! — кричит ей немец в ответ грубым самодовольным, злорадным голосом, бьет дубинкой и гонит без вещей к остальным.

Нас ведут к Старому еврейскому кладбищу, колонна с обеих сторон окружена сплошной цепью шуцманов с автоматами и винтовками.

Они кричат, требуя шагать дисциплинированно, по рядам и быстро. Темно и страшно скользко. Последние дни было тепло, таяло, а ночью было холодно, дорога обледенела, стала очень скользкой. Многие падали, рядом идущие их сразу подхватывали и не отпускали, боясь, чтоб по ним не стали стрелять, как было неделю назад. Тем не менее колонна оставляла на дороге людей, особенно малых детей, которых растаптывали в темноте из-за безумного движения. А шуцманы все кричат и гонят:

— Быстрее! Быстрее! Не то будем стрелять! — и работают безжалостно нагайками.

Особенно кровавым был спуск с конца улицы Ликснас возле кладбища при повороте на Московскую улицу по узкому, сплошь обледенелому переулку Жиду иела¹.

1 *Židu iela* — улица Жиду (латыш.). Эта улица, проходящая вдоль Старого еврейского кладбища и с 1868/69 года носившая название



Узники Рижского гетто на пути в Румбулу. Фото, сделанное неизвестным фотографом 8 декабря 1941 г.

В невероятном темпе мы долго несемся по Московской. Светает. Появляются первые трамваи и пешеходы.

— Как далеко вы нас будете гнать? — спрашиваю я у рядом идущего шуцмана.

— Осталось еще семь километров, — цедит он сквозь зубы.

После резиновой фабрики «Квадрат»¹, колонна повернула влево в сторону железнодорожной станции Шкиротава, а немного позже мы свернули направо, в направлении к станции Румбула.

На этих поворотах можно было короткими взглядами охватить всю колонну. Она была чудовищно длинной, казалась бесконечной: в то время, как голова колонны уже исчезла в леске, где-то у самой станции Румбула с Московской улицы все еще тянулся нескончаемый людской поток.

Еврейской (*Ebreju*), в 1923 году была переименована в *Židu* (Жидовскую). С 1942 года она носила еще три названия. В 1990 году восстановлено историческое название — *Ebreju*.

1 «Квадрат» — завод резиновых изделий в Риге (был основан в 1924 году).

Приближаясь к лесу, мы ясно услышали стрельбу. Это был страшный предвестник нашего будущего.

Что же делать?! Мы окружены со всех сторон вооруженными полицаям и шуцманами. Вокруг леса снова кольцо немцев-эсэсовцев. Мы погибли! Людей охватили ужас и оцепенение.

Колонна вливается в лесок сквозь строй шуцманов. Тут же у входа большой, высокий ящик, а возле него стоит толстый немец-эсэсовец с дубинкой и кричит, чтобы в ящик сбрасывали драгоценности. В ящик падают золотые кольца, сережки, браслеты, часы. Почти не останавливаемся.

Нас гонят дальше. Другой, шуцман-латыш, приказывает снять пальто, бросить в кучу, уже ставшую горой, и идти вперед.

Меня лихорадочно сверлит единственная мысль из глубин инстинкта жизни: что бы сделать, чтобы спастись. Я вытаскиваю свои документы и обращаюсь к шуцману:

— Смотрите, я специалистка, портниха и могу еще принести много пользы, вот мой диплом, — показываю ему свои бумаги.

— Иди к Сталину со своим дипломом! — выкрикнул шуцман и с силой ударил кулаком по моей руке. От удара разлетелась в разные стороны вся пачка моих документов — паспорт, диплом, какие-то «аусвайсы» и другие листочки¹.

Я снимаю пальто. Шуцманы гонят все дальше. Меня охватывает такой непостижимый дикий страх и безумие, что я начинаю рвать на себе волосы и истерично кричать, заглушая грохот выстрелов. Евреи-соседи в ряду на меня злятся — зачем я ору: могу накликать на всех беду. Я же не могу совладать с собой и успокоиться, чувствую, что теряю рассудок. У следующей кучи приказывают снять платье, бросить его и — снова вперед.

На мне рабочий халат поверх платья и трех пар белья. Я бросаюсь на кучу одежды и пытаюсь спрятаться, но тут же получаю сильный удар по спине нагайкой и слышу крик шуцмана:

— Немедленно вставай и разденься!

— Я уже раздета, — плача, отвечаю я и поднимаюсь. — на мне один лишь халат. Иду вперед, крича и вырывая волосы, я не чувствую даже, как вырываю их целыми клоچьями. Следующий шуцман кричит: снять все до нижнего белья. Он набрасывается на меня с бранью, почему я еще на раздета. Но в этот самый миг из колонны раздетых полуголых людей к нему подбегает заплаканная женщина и обращается со словами:

1 Этим шуцманом оказался Карлис Детлавс, которого Фрида Михельсон опознала на судебном процессе в Балтиморе (США) в 1979 году (см. приложение 1, с. 167—170).

— Мой муж латыш, смотрите, вот тот шуцман хорошо знает его, — и показывает рукой на какого-то охранника. — Почему я должна умирать?!

Воспользовавшись моментом, когда внимание шуцмана отвлечено разговором с женщиной, я бросилась на землю лицом в снег и замерла неподвижно. Немного спустя слышу, как надо мной говорят по-латышски:

— Кто здесь лежит?

— Наверное, мертвая, — отвечает громко второй голос.

Вот, думаю, теперь меня потащат к яме, но остаюсь окаменелой на месте и тотчас вновь слышу эти голоса шуцманов:

— *Ātrāk, ātrāk!* — это гонят евреев: быстрее, быстрее.

И евреи бегут прямо в могилу. Я слышу, как возле меня стонет женщина: «Ай, ай, ай!..» — и чувствую, что она бросила мне на спину какой-то предмет, затем второй.

Голоса женщины больше не слышу, но предметы падают один за другим, я понимаю, что это падает обувь. Вскоре я покрываюсь целой горой ботинок, валенок, бот. Слышу крики:

— *Шма Исраэль!*¹ — это плачет старик.

— Звери! Оставьте хоть детей в одежде, ведь холодно! — гневно кричит палачам другой мужчина.

— *Ich sterbe für Deutschland!* (Я умираю за Германию!) — Это, видимо, кричит онемеченная еврейка, эмигрантка из Германии.

— Уж лучше смерть, чем так жить! — кричит другая.

— Дайте нам дождаться родных, попрощаться перед смертью, — умоляет шуцмана пожилая женщина.

Люди горько рыдают, прощаются друг с другом, и тысячами все бегут и бегут в пропасть². Пулеметы непрерывно

1 Слушай, Израиль... (др.-евр.) — начало иудейской молитвы.
2 Как было установлено впоследствии, жертвы сходили в яму по наклонному земляному спуску. Обессилевших шуцманы заносили в яму и укладывали на свежие трупы. Жертвы заставляли ложиться лицом вниз, поверх казненных. Одиночными выстрелами в затылок их убивали с расстояния примерно двух метров. Каждой жертве полагалась одна пуля. Маленьких детей бросали в ямы живыми. Этот предложенный обергруппенфюрером СС Ф. Еккельном метод убийства назывался «укладкой сардин». (Фридрих Еккельн (1895—1946) — один из руководителей нацистского оккупационного режима на территории СССР. Высший руководитель СС и полиции в рейхскомиссариате Остланд, один из организаторов террора, массовых убийств еврейского населения, депортаций местных жителей и прочих преступлений. 2 мая 1945 года взят в плен советскими

стрекочут¹, а шуцманы все орут и гонят: «Быстрее! Быстрее!», — дубасят дубинками, нагайками. Так длится много часов. Наконец, стихают крики, прекращается бег, смолкает стрельба. Доносятся где-то рядом из глубины звуки, как при работе лопатами — это, должно быть, закапывают расстрелянных.

Русские голоса их подгоняют, торопят работать быстрее. Вероятно, для этой работы пригнали советских военнопленных². После, наверное, и их самих расстреляют.

Меня давит гора обуви, все тело онемело из-за холода и неподвижности, но я — в полном сознании. От тепла моего тела снег подо мной растаял, и я лежу в луже.

Вдруг доносятся довольные голоса латышей:

— Закурим! Хе-хе!

— До свидания!

Значит, шуцманы уже закончили свое дело и расходятся. Теперь слышу совсем близко по-немецки:

— *Was suchst du dort?*³

— *Ein Paar Strumpfe für meine Frau*⁴.

Некоторое время снова тихо.

Вдруг неподалеку в стороне от ямы тишину прорезал детский плач и крики:

— Мама! Мама!

Раздались беспорядочные одиночные выстрелы. Плач ребенка смолк. Убили. Опять тишина.

Теперь слышу, кто-то кричит самодовольно по-немецки:

— Из нашего котла никто не выходит живым.

Видимо, это говорит убийца над трупом ребенка. Рядом проносится топот шагов. Шуцманы все еще не ушли. Время идет. Должно быть, уже ночь. Шагов больше не слышно, не пора ли мне выбраться из моего укрытия?

Начинаю осторожно разгрести кучу ботинок и выползть.

войсками в Берлине. На судебном процессе в Риге (26 января — 2 февраля 1946 года) за военные преступления приговорен военным трибуналом Прибалтийского военного округа к смертной казни. Казнен 3 февраля 1946 года).

1 Для расстрела в Румбуле использовались советские автоматы, магазины которых вмещали 50 патронов. Эти автоматы позволяли вести огонь одиночными выстрелами, что давало возможность экономить патроны. Множество одиночных выстрелов на слух воспринималось, как очереди.

2 См. примечание 3 на с. 9—10.

3 Что ты там ищешь? (нем.).

4 Пару чулок для своей жены (нем.).



Советские военнопленные на «земляных работах»

Да, в самом деле, уже темно. Я прислушиваюсь к каждому шороху, любому звуку. Тишина. Подползаю к куче одежды. Слышу: приближаются шаги. Я мигом прячусь в горе одежды. Шаги стихают и исчезают. В темноте я прощупываю одежду. Нахожу три кофты, натянутые одна на другую, и одеваюсь в них. Засовываю руку в карман каких-то мужских брюк, нащупываю металлический предмет — какая-то драгоценность — это мне ни к чему. В другом кармане нащупываю три кусочка сахара, это я забираю. Еще нахожу два шерстяных шарфа — одним обматываю шею, другим — руки. Руки все равно страшно мерзнут, а перчаток или рукавиц никак не могу найти, видимо, их сбрасывали вместе с пальто. Но туда я боюсь подползти, как-нибудь обойдусь без перчаток и

пальто. Зато мне попадается в руки светлая длинная ночная сорочка, на фоне снега будет маскировка, это пригодится. Я начинаю ползти все глубже в лес. Опять шаги. Становлюсь за дерево и выжидаю, пока не пройдут. Шаги удалились, но вот опять гремят выстрелы. Возможно, это стреляет стража, охраняющая награбленные вещи убитых евреев¹.

Я выползаю из леска. Куда теперь направиться? Быть может, кругом выставлена охрана. Смогу ли я прорваться сквозь их цепь?

1 Испачканная кровью и простреленная одежда убитых 30 ноября и 8 декабря была тщательно отсортирована и вместе с мебелью из гетто впоследствии распродана немцам и местным жителям.

СКИТАНИЯ. БЕРЗИНЬШИ

Вдалеке вижу мерцающие огоньки — это, должно быть, светятся железнодорожные огни со стороны Шкиротавы, нужно держаться подальше от станции, думаю про себя. В темноте едва просматриваются силуэты хуторов, доносится лай собак — значит, неподалеку живут крестьяне. Полусогнувшись, я иду в направлении домишек. Подхожу, наконец, к маленькому домику.

Во дворе стоит будка-уборная. Вхожу туда и смотрю в щели дверки, жду, чтобы кто-нибудь вышел из дому. С моей одежды стекает вода — это тает смерзшийся снег-лед, что пристал за день к платью. От изнеможения я погружаюсь в дремоту. Мне снится странный сон, будто смотрю сквозь замочную скважину в дверях и вижу сидящего за столом Сталина, одетого в военную форму. Он начинает как-то странно расти ввысь, делается все выше и выше, вырастает из здания, а потом начинает уменьшаться, становится все меньше, ниже и, наконец, вовсе падает на землю. Его уносят какие-то люди.

Я проснулась. Безумный сон.

Я снова впилась в щель дверки. Вдруг вижу: из дома выходят две женщины, похоже, что это старушки, в темноте их трудно различить. Одна из них держит в руке деревенский керосиновый фонарь, другая — ведро. Женщины заходят в хлев, очевидно, доить коров. Через короткое время они возвращаются. Теперь я отчетливо вижу, что это старушки. Я быстро выхожу из уборной, подхожу к женщинам и падаю им в ноги, плачу и прошу у них защиты и помощи, чтобы они пустили меня переночевать, пусть даже в хлеву. Старушки страшно перепугались из-за моего дикого вида. Они догадываются, кто я, а здесь вокруг немцы повсюду рыщут с облавами. Женщины побледнели как полотно, на них нет лица.

— Ради Бога, только на одну ночь в хлеву, — умоляю я их.

Наконец, они уступают и разрешают. Я зарылась в сено и заснула мертвым сном.

Наутро обе старушки входят в хлев и приносят мне хлеб с молоком. Я их благодарю от души, но снова прошу разрешить мне остаться в хлеву еще на одну ночь. Они молча уходят. Днем, часа в четыре-пять старушки прибегают ко мне очень взволнованные и объясняют, что здесь мне больше нельзя оставаться. Они дают мне с собой в дорогу бутерброды и указывают рукой на какой-то отдаленный хутор, куда бы лучше пойти. Жаль, но ничего не поделаешь.

Я благодарю их и ухожу. Начинает темнеть. Немного пройдя по тропинке, вижу: паренек лет пятнадцати стоит, прислонившись к дереву. Одет он хорошо, на нем серое пальто с меховым воротником.

Он замечает меня, выходит навстречу и говорит по-латышски, видимо, приняв меня за местную крестьянку:

— Милая тетенька, не могли бы вы мне помочь, я без жилья, без еды.

— Откуда ты? — спрашиваю его также по-латышски.

Он начинает рассказывать, что случайно спасся во время расстрела евреев в лесу. Мне все ясно. Он принимает меня за латышку. Сердце сжимается от боли. «Несчастный мальчик, чем я могу тебе помочь? — думаю про себя. — Вдвоем нам будет еще тяжелее спастись». Я говорю:

— К сожалению, я не могу тебе ничем помочь, возьми вот это, покушай, это все, что у меня есть, — и отдаю ему бутерброды старушек.

На глаза навертываются слезы, мне страшно больно. Горько от собственных холодных слов, но я, не задерживаясь, ухожу. Он остается у дерева и ест...

Погода в ту ночь не была холодной. Я направилась к домику, который мне указали старушки. Открываю дверь. Из комнат пахло теплым паром и запахом деревенского жилья. На полу играют маленькие дети, на скамейках сидят взрослые. На меня уставились испуганные глаза. Какой-то миг царит напряженное молчание. Но тут навстречу поднимается молодая женщина. Я еще не успела ничего попросить — ни еды, ни погреться, а она уже кричит на меня, бросая строгие, злые слова:

— Вон отсюда! Я шарахаюсь назад. Она с силой закрывает перед моим носом дверь. Уже темно. Становится трудно различить дорогу. Я блуждаю по полям, низинам, болотам. Проваливаюсь в скрытые глубокими сугробами снега канавы, на дне которых вода. Каждый шаг рождается в муках, меня оставляют силы. Я держусь в направлении отдаленного огня

какого-то другого хутора. Подхожу, наконец, к дому, стучу, прошу помощи. Ответ здесь не лучше, чем в первом доме:

— Убирайся подобра-поздорову, твое счастье, что ты не попала к соседям, там бы тебя мигом задержали и отвели куда следует.

Пускаюсь блуждать дальше. Я очень устала, едва волочу ноги, не иду, а плетусь. Измученная, совершенно без сил, притащилась я еще к одному дому, насилу вползла на ступени крыльца и тереблю дверь. Выходит мужчина средних лет. Я прошу у него разрешения переночевать эту ночь. К нам подходит старая женщина. Она смотрит на меня и падает в обморок. Мужчина поспешно уходит в комнату разыскивать валерьянку. А я между тем на четвереньках, как собачонка, вползаю в дом, прячусь за столярным верстаком, что стоит в углу и накрываюсь с головой старым тулупом.

Вскоре ко мне подходит хозяин и говорит:

— Прошу вас, уйдите, у нас вам нельзя оставаться, мы рискуем жизнью. Я прошу его, умоляю изо всех сил:

— Никто ведь не увидит и не будет знать, — убеждаю его, оставьте меня на одну только ночь, я так измучена, Бог вам заплатит за ваше добро.

Хозяин немного смягчился и отвечает:

— Ладно, оставайтесь до завтра, но в доме я боюсь вас держать, идите во двор, там стоит большой стог сена, там и спрячьтесь, за это я не отвечаю.

Я выхожу во двор. Высокая с дом копна сена покрыта небольшой крышей, опирающейся на четыре гладкие жерди. И по сей день я не могу понять, как это случилось, что у меня, такой измученной, появилось тогда столько сил, чтобы вскарабкаться наверх по скользкой жерди под самую крышу.

Я зарылась в сено и стала думать: «Как хорошо было бы заснуть вот так навечно».

У меня перед глазами неподвижно стоит страшная картина убийства, в ушах все звучат крики и стоны, и бегут, бегут люди...

Кругом мертвая тишина, ни звука. Я дышу — значит, живу. Мне кажется, что становлюсь ненормальной, схожу с ума.

Наутро из дома вышел хозяин с собакой. Собака подбежала к стogu и громко залаяла. Хозяин обращается ко мне, но я не подаю виду, что слышу. Собака лает сильнее. Хозяин злится и кричит уже громко и с угрозой:

— Слезай, не то будет хуже!

Надо идти — никуда не денешься.

Хозяин велит мне немедленно уходить, не задерживаясь ни на минуту. Иду бродить. Иду и думаю: может, пуститься мне в Ригу, в городе у меня так много знакомых латышей — неужели никто не поможет? Неужели будут выбрасывать, как эти чужие, деревенские?

Блуждая, встречаю мужика с подростком.

— Как попасть отсюда в город? — спрашиваю их, когда мы поравнялись.

Мужик всматривается в меня не то удивленно, не то испуганно, не сводит, как с диковины, глаз с моих необычных отрепьев: зимой без пальто, в разноцветных кофтах, с обмотанными платками руками. Хорошо еще, что ночную рубашку я сбросила.

— Не бойся, я не выдам тебя, — говорит он, наконец, сообразив, в чем дело. — Но в Ригу тебе не попасть, на каждом углу контроль документов. Тебя мигом задержат.

Они ушли.

Выходит, мне нет спасения. Но так хочется жить! Быть может, это мои последние шаги в жизни, я дышу глубоко, с жадностью вдыхаю свежий воздух. Жить — это дышать. Нет, я еще поборюсь за свою жизнь. Да если бы меня разрубили, как змею, на десятки частей, и тогда каждый мой кусочек трепетал бы, бился и жаждал жить.

Я буду бороться до последнего вздоха — это моя клятва. В яму я всегда успею. Попробую зайти еще в один дом. Недалеко у дороги стоит белый дом, должно быть, здесь живут зажиточные люди. Сюда нет смысла идти. Опасно. Ищу бедные домишки: лишь бедным людям, думаю, свойственны доброта и сострадание.

Вдалеке в поле стоит одинокий темный домик. Подхожу ближе, всматриваюсь в окошко. Да, здесь есть люди. Стучу в дверь. Выходит старик. Я прошусь в дом отогреться — вижу, в комнате топится печь. Старик впускает и велит садиться у печки, спрашивает, куда иду. Я открываюсь ему, как на исповеди. Он слушает меня с большим сочувствием, ужасаясь подробностям происшедшего массового убийства, и предлагает мне спрятаться за штабелем досок, припасенных для новой постройки, а затем идет за сыном и невесткой, чтоб они мне помогли.

Вскоре они явились втроем. Должно быть, он уже все рассказал им. Я бросаюсь им на шею, целую их и плачу. Они плачут со мной.

Я убеждаюсь, что это в самом деле добрые люди. Они накормили меня и велели идти спать на чердак, там сеновал,

предупредив, чтобы я не пугалась, если придет человек (там прячется русский военнопленный), и могут прийти еще несколько военнопленных, одетых в гражданское платье.

Ночью, действительно, на чердак бесшумно забрался незнакомец, но он меня не заметил, так как я глубоко зарылась в сено. Здесь, на чердаке, я пробыла неделю. Мои спасители, Берзиньши, ежедневно по утрам навещали меня и приносили еду на целый день. Они меня познакомили также и со своей старой матерью и свекровью.

Тем временем вышел приказ, что каждый хозяин в деревне несет ответственность за любое лицо, которое находится в его доме или на территории его имения. За укрытие нелегальных людей хозяевам грозит смертная казнь.

Я должна была покинуть моих замечательных друзей. Берзиньши дали мне с собой пальто, рукавицы и большой деревенский платок, в который можно было хорошо закутаться, чтобы не видно было лица.

Мне некуда было идти. Я завернула в лес, влезла на дерево и уселась на толстую ветвь.

Стоял сильный мороз, чувствую, что начинаю засыпать. «Дай Бог, навечно», — думаю я и погружаюсь в дремоту.

Вдруг просыпаюсь. Я страшно замерзла, не чувствую конечностей. Начинаю стучать по коленям, щипать тело, крутить головой. Слезаю с дерева и начинаю двигаться взад-вперед, пока, наконец, немного согрелась. Стараюсь не поддаваться, заставляю себя всеми силами держаться всю ночь. Рано утром, я разглядела двух женщин — одну молодую, другую старушку. Они шли с саночками собирать в лесу дрова. Женщины приблизились ко мне. Оказывается, это старая Берзиньш со своей невесткой. Я рассказала им, как провела эту ночь, как едва не замерзла. Старушка вынула из корзинки бутылку горячего чая и дала мне попить. Они обещают мне помочь и говорят, что я должна пойти на другой хутор, к старым Берзиньшам, чей дом находился в километре от дома сына, отделенный лесом. К назначенному часу я постучала в дом. Они уже ждали. Жилье стариков Берзиньшей было на втором этаже, по существу на чердаке.

Как только я зашла к ним в комнату, я почувствовала необыкновенное тепло и не столько физическое, сколь человечность и дружелюбие этих на редкость мужественных людей, решившихся пойти на смертельный риск ради меня, совсем незнакомого человека.

Я все не могу понять, что со мной происходит, мне кажется, что все это во сне — и пережитый кошмар и счастливая

встреча со спасителями. Я подробно рассказала им весь свой ужасный путь. Когда я рассказала о пареньке, которого оставила в лесу, они очень опечалились,

— Приди он к нам, мы бы его могли даже легче спасти, чем тебя, — отправили бы его к нашим знакомым и спрятали его в сенах, так что ни одна душа бы не ведала.

Мне стало больно: жаль, что не решилась в тот миг взять его с собой — могла ли я предвидеть, что встречу добрых людей? Мысль о нем гложет меня и по сей день.

*

Спустя несколько дней к нам зашла соседка, жившая на первом этаже. Старушка Берзиньш познакомила нас, представив меня как свою старую приятельницу, мастерицу-портниху, и предложила, что я сошью платье для ее дочери.

— Охотно, — согласилась довольная соседка, — моей дочке как раз очень нужно платьице к школе и белый передник.

Теперь я занята делом, живу у матери Берзиньш и шью платье. Меня одели во все деревенское, на голове белый платок — это скрывает мои черные волосы.

Соседка, правда, косится на меня подозрительно, но мой чистый латышский говор постепенно рассеивает ее сомнения.

Я заканчиваю работу, соседка осталась довольна. Впервые после стольких мук я оказалась в человеческих условиях, я это научилась ценить.

Как-то старушка Берзиньш пришла с печальным известием: убили паренька, которого я повстречала.

Короткое время его прятал то один, то другой хозяин, но затем, скитаясь, он забрел в дом, где его приняли, накормили, а затем донесли в полицию.

Под впечатлением этой трагедии Берзиньши в тот день сидели напуганные, не зная, как поступить со мной. Говорили, что немцы будут искать по домам, проверять документы, не скрывается ли кто без прописки. Ходили слухи, будто в этих местах видели блуждающую еврейку, и немцы устраивают облавы в поисках скрывающихся в округе советских военнопленных и беглых евреев.

Любой, кто их спрячет или окажет помощь, будет расстрелян вместе с семьей, а вся деревня будет сровнена с землей.

Берзиньши подавлены новостями, в доме страх, они перепуганы насмерть.

Я думаю, куда бы мне все-таки пуститься? Но ничего не могу придумать. Кроме Берзиньшей, у меня нет никого. Последняя ночь у них. Утром я, распрощавшись, ухожу, сама

не зная куда. Брожу бессмысленно взад-вперед по лесу и снова возвращаюсь к их второму дому у новостройки. На дворе стоит стог соломы. Я влезаю в стог и глубоко зарываюсь.

Стоит лютый мороз. Мне становится невыносимо холодно, вся дрожу. Едва дождавшись рассвета, вхожу в дом.

Я признаюсь своим спасителям, что ночевала возле их дома. Я понимаю, что не должна подвергать их столь жестокому риску, но что делать?

Они советуют идти в город, быть может, там будет легче где-нибудь приютиться, здесь это совершенно исключено, к ним могут в любую минуту прийти с обыском — их дом уже взят на подозрение, о них идет дурная молва, их считают коммунистами. Старший сын Берзиньшей арестован, неизвестно даже, где он находится, а их зять ушел добровольцем в Красную армию. Нетрудно представить, чем все это пахнет.

Надо прощаться. Я снимаю с руки мою единственную ценность — часики «Мозер», которые утаила от фашистов, не бросив в ящик перед ямой, и прошу моих спасителей принять это в знак моей благодарности.

Надеваю свое пальто — подарок Берзиньшей, которое специально переделала, чтобы казаться горбатой, и закутываюсь в платок, оставив лишь щелку для носа и глаз. Приняв таким образом облик деревенской старухи, я пускаюсь в дорогу с небольшой корзинкой, наполненной запасом еды.

Мороз все крепчает, идти очень холодно. Я держусь тропки, что указали мне Берзиньши. Иду долго, редкие встречные не обращают на меня внимания. Приближаюсь к городу. Вот и Московская улица. Вдруг вижу: впереди стоит шуцман-латыш с винтовкой в руках. Меня начинает лихорадить от страха. Чуть дальше еще один шуцман. Видимо, это охраняется опустошенное гетто.

Само гетто, словно еще живое, но смертельно раненное существо плачет многочисленными черными глазницами разбитых зияющих окон.

Мне хочется кричать безумным голосом, чтобы они, пока еще живущие в гетто, проснулись, чтобы они знали, что я видела, чтобы передать им гул и топот, звучащий в моих ушах. Несчастные, они не могут поверить в худшее, не могут даже предположить что их ожидает...

*

Миновав Московскую, я приближаюсь к центру. Куда бы дальше пойти? Может быть, в самом деле пойти к нашему дворнику, я ведь ему оставила много вещей, не может быть,

чтобы он отказал мне в ночлеге. Прихожу к нему, стою у дверей и стучу. Появляется дворник и приглашает пройти: он меня не узнал.

Открываюсь ему, он вскрикивает от ужаса, словно встретился с привидением. Всячески успокаиваю его, начинаю рассказывать свои страшные приключения, как я спаслась у ямы от расстрела и дальнейшие мытарства. Он страшно напуган, не владеет собой, только повторяет, чтобы я как можно скорее оставила его.

— Не дай Бог, — лепечет он дрожащим голосом, — узнает муж дочери, тогда будет совсем худо. Я же не трогаюсь с места.

— Мне некуда идти, — говорю я ему, — умоляю вас, спрячьте меня где-нибудь, не то я должна покончить с собой.

От этих слов он встrepенулcя, вскочил и, с силой распахнув дверь, крикнул:

— Убирайся к Ламбертам, там ты больше оставила барахла! — И вышвырнул меня за порог.

Стою, ошарашенная, и думаю: «Попробую к Ламбертам. У них я действительно оставила большинство хороших вещей. Насколько я знаю, они порядочные люди и очень религиозны».

Когда я представилась, и они меня, наконец, узнали, должно быть, по единственно не изменившемуся голосу, то, естественно, и они очень перепугались. У меня все та же просьба. Но хозяйка тотчас отказала: к их сыну и дочери заходят немцы, и у них ни в коем случае нельзя оставаться ни на минуту — в любой момент могут прийти. Страх превыше всего: убеждать, просить здесь явно бессмысленно...

Куда бы еще пойти? Перебираю в уме всех знакомых. Нет, никто не примет.

— А что если пойти к офицеру, у которого служила, ведь он меня уважал за добросовестную работу? Да, пойду. Раздумывать некогда, нужно где-нибудь устроиться на ночь.

Офицер с адъютантом живут на углу улиц Елизаветинской и Юмарас. Иду туда быстро, уже поздно, становится темно, приближается комендантский час. После шести на улицах появляться нельзя. Подбираюсь к дому, они живут на втором этаже, парадная дверь с улицы Елизаветинской.

Некоторое время стою в нерешительности перед дверью, затем нажимаю кнопку звонка.

Дверь открывает адъютант, я падаю ему в ноги, объясняю, кто я и откуда пришла, прошу его спрятать на ночь хотя бы между дверьми или в кучах хлама. Я умоляю его, ради Бога, ради всего святого, но напрасно. Он говорит, что боится: в квартире живут еще немцы-эсэсовцы, и если меня найдут, всех немед-

ленно расстреляют. Нужно покинуть и это место. Иду назад через двор. Вижу: погреб открыт. Оглядываюсь и спускаюсь вниз. Вхожу в подвал, смотрю, стоит дворник и выкачивает шлангом воду. Подвал наполовину затоплен. Я к нему, прошу, чтобы он оставил меня тут, в погребе. Рассказываю, что моя подруга, ее мать и свекровь и другие, работавшие здесь, — все убиты. Их вещи, которые они оставили здесь у него, никто больше не попросит, я единственная, кто спасся.

— Но я ничего не могу сделать, — отвечает он, — за подвал я отвечаю головой.

— Ведь уже поздно, темно, — говорю ему. — Я же не могу выйти на улицу, что же мне делать? У меня единственный выход перерезать себе вены!

— Я не могу тебе, к сожалению, ничем помочь, — он разводит руками.

Я поплелась к выходу, что ведет на улицу Юмарас. Стою и думаю: «Вот она — моя последняя дорога — больше спасения нет, через несколько шагов на улице меня схватят и расстреляют». Уж лучше самой перерезать вены. Нашупываю свой маленький острый ножик, что Берзиньши дали с собой в дорогу. Но в этот самый момент, когда я стою в раздумье, раздастся скрип открываемой двери и выходит дворник, выпаливая шепотом.

— Иди живо на лестницу, за лестницу никто не несет ответственности!

Я влетаю в коридор. Дворник тотчас скрывается. Поистине мне ангел явился и остановил руку смерти.

Из коридора лестница ведет на чердак. Я быстро бесшумно вбегаю наверх, скольжу мимо столь знакомой двери черного хода комнаты офицера. И вот я уже на чердаке. В темноте нашупываю большой ящик с пустыми бутылками, сажусь на него и начинаю думать, что же со мной происходит. Прихожу немного в себя, прислушиваюсь: в одной квартире коют, танцуют, гуляют; в соседней — то же самое, словом, кругом пир горой. Там большое веселье и праздник. Через потолок слышны отдельные буйные возгласы, утопающие во взрывах хохота.

А у меня перед глазами картины гетто, тысячи обреченных перед ямой, крики и плач, монотонный перестук выстрелов. Сердце плачет от боли.

Как можно так смеяться и ликовать после такого совершенного варварства?! Звуки действуют на мои нервы, как соль на раны.

Вдруг слышу: этажом ниже открывается дверь и выходят двое. Они направляются прямо на чердак. У меня спазмами перехватило дыхание, сижу на ящике, будто парализованная,

жду: вот-вот меня схватят. Один из них зажигает спичку, идет, шатаясь, вперед и громко выкрикивает:

— Куда мы идем? Там же чердак, давай назад!

Они уходят. Опять повезло. Так я остаюсь сидеть до утра. Когда послышались первые шаги на лестнице, я быстро спустилась и вышла на улицу. Целый день я бродила по городу, к вечеру снова прокралась через лестницу на чердак и уселась на ящик. Так продолжалось несколько ночей.

Но этот же дворник может меня и выдать — как-то раз ночью обожгла злая мысль. С этой лестницы нужно убраться.

Стала перебирать в уме, к кому бы еще можно пойти за помощью. Я вспоминаю адреса моих знакомых «ариек». Остановливаюсь на Межулис. Они живут на улице Шпренгу¹, номер дома — примерно 32. Пошла туда, постучалась, впустили. Они, конечно, тоже меня не узнали. Я рассказала им все о себе, они дружелюбно и сочувственно меня приняли, накормили. При Ульманисе ее муж был офицером, теперь он стал домоуправом. Он мне сказал, что на улице Гертрудинской пустует квартира, замок пустяковый, острием любого ножика его можно открыть. Получив точный адрес, счастливая, я пустилась туда.

Подошла к указанному дому. Осторожно, чтобы никто не заметил, подкралась к дверям и стала ковырять замок. Вдруг слышу, что из каких-то дверей выходят. Отскакиваю от дверей, поднимаюсь наверх. Люди ушли, я снова к замку, пытаюсь вставить и повернуть ножик. Много раз начинаю безуспешно все сначала, как Межулис мне объяснял. Постоянно выходят то из одной, то из другой квартиры, идут по лестнице, а я, как вор, должна мигмом исчезать. Замок так и не удалось открыть.

Я направилась назад к Межулисам и рассказала им о своей неудаче с замком.

— Это же пустяк, — отвечает он. — У меня есть еще одна квартира по той же Гертрудинской, угол Авоту. Дом деревянный, наверху живут, туда надо входить особенно тихо.

Я снова рада, что дело хорошо оборачивается, — будет где жить. Немедленно отправляюсь по новому адресу.

Домик глубоко во дворе, он двухэтажный, старый, деревянный. Поднимаюсь тихо по лестнице.

Да, в самом деле дверь открыта, об этом Межулис мне и говорил. Это и есть та самая квартира. Внутри пусто, ни следа жизни.

1 Вероятно, речь идет об улице Авоту (историческое название — Ключевая), немецкое название которой — *Sprenkstrasse*.

Здесь жили евреи: еще остались на дверях мезузы¹, окна разбиты, дует со всех сторон, холодно, как на улице, водопроводный кран заледенел, уборной в квартире нет, полно грязи. Но все равно это укрытие, и я рада, что хоть имею что-то над головой и могу где-то ночевать, не подвергая себя большому риску.

Я вынула из своей корзины старую газету, расстелила и села на пол. В квартире нет не только стола и стула, но даже ящика или досок, одни лишь четыре стены комнат. На кухне нашла железную консервную банку с замерзшей водой. Сижу на полу и думаю. Перед глазами — мои родные и близкие, пронесаются те же страшные, запечатленные навечно картины.

«Буду ли я в состоянии все это вынести и дожить до того дня, когда смогу увидеть кого-нибудь из родных? — рассуждаю сама с собой. — И как долго суждено мне будет сидеть здесь на полу в тягостном ожидании то ли освобождения, то ли смерти? Наверно, недели две-три, а то и больше. Надо держаться, бороться, не пасть духом, главное — пережить эти морозные дни», — подбадриваю себя.

Сидя, двигаю руками, головой, телом, чтобы не замерзнуть.

Проходит день, два, чувствую, что коченею. Так долго длиться не может. Надо на что-то решиться. Я еще раз внимательно осматриваюсь: сюда же могут легко войти. На дверях ни крючка, ни защелки. Вынимаю ножичек и запираюсь им. Уцелевшие стекла окон покрыты причудливыми узорами — зима вступила в самую силу.

Выхожу на улицу и покупаю газету, хочу узнать последние новости. Возвращаюсь незаметно назад и сажусь на пол, читаю газету. Судя по сообщениям, дела у немцев необычайно хороши. Мое настроение совсем падает. Не так уж скоро, как мне казалось, можно ожидать их разгрома.

«Но ведь все равно нужно жить, нужно бороться!» — настойчиво возражает внутренний голос. Я бы хотела уснуть и во все ни о чем не думать, но сон так и не приходит из ночи в ночь. Чувствую, как промерзаю насквозь до костей. Ходить по комнатам взад-вперед опасно, боюсь — могут услышать шаги. По звукам, доносящимся снизу, я заключаю, что там мастерская и живут несколько человек. На другой день я опять выхожу на улицу к газетному киоску, покупаю сразу несколько

1 Мезуза (букв. «дверной косяк») — своеобразный амулет в иудаизме. Представляет собой прикрепляемый к дверным косякам зданий футляр, содержащий свиток с написанными на нем фрагментами из Священного Писания.

газет и быстро возвращаюсь назад к себе. Прочитываю сплошь все газеты. Статьи все о том же — во всех бедах виноваты жи-ды-большевики, их нужно стереть с лица земли.

Стелю на пол несколько газет «Тевия» и ложусь спать. Засыпаю. Неожиданно просыпаюсь, будто связанная и окаменевшая. Не чувствую ни горла, ни шеи, ни ног. Кажется, что промерзла. Перепугалась, лихорадочно кручу головой, тру шею. Появилась сильная боль.

— Ну, — думаю, — если болит, значит еще живая. Ударами и натираниями привела в чувство и окоченевшие колени, а затем обмотала ноги и шею в несколько слоев газетами — пальто мое было без воротника, и один платок не спасал от стужи. Мне стало ясно, что здесь мне долго не продержаться, и я решила пойти еще раз за помощью к Межулисам.

Они по-прежнему меня гостеприимно встретили, напоили горячим чаем, досыта накормили. Я, наконец, отогрелась за долгое время и рассказала им о своих многочисленных неудачных попытках победить замок первой квартиры.

— Я просто поражен, что вы не смогли открыть дверь, — недоумевал господин Межулис. — Там ведь так уютно и тепло, есть вода и туалет. Это же совсем просто, вот смотрите, дайте ваш ножик.

И он еще раз наглядно показал мне, как надо действовать ножичком. Я засиделась у них. Вдруг звонят. Межулисы поспешно вышли в переднюю, и через минуту я услышала за стенкой разговор:

— Не появлялась ли у вас Фрида Фрид. Она, говорят, спаслась. Вы же ее бывшие клиенты и получали у нее свои отрезы. Неужели вы ничего о ней не знаете?

— Что вы, откуда нам знать, — отвечают они с напускным удивлением. — Мы ничего не знаем. Дверь закрывается, а потрясенные хозяева остаются стоять неподвижно, словно пораженные. Ясно, что мне следует как можно быстрее оставить их.

Это преследует меня управляющая Крисон в компании с дочерью дворника и его зятем. Межулисы дали мне с собой продукты, и я пошла к хорошей квартире на Гертрудинской еще раз попробовать счастье.

Ворочаю ножиком и так и эдак, но дверь не поддается. Слышу шум на лестнице — работу нужно прервать. Стихает, я снова берусь за дело. Нет, не могу открыть. Просто не везет!

«Настоящая ты *шлимазл*¹», — грызу я себя.

1 Неудачник; злосчастный, никчемный человек (*идиш*).

Что же дальше? Не вышел из меня взломщик. Надо вернуться в холодные, пустые комнаты, замкнуть дверь ножичком и усестся на пол, без конца сгибаясь и выпрямляясь, чтобы окончательно не замерзнуть. С каждым днем все отчетливее чувствую, что здесь я медленно угасаю. Все во мне коченеет, голосовые связки словно примерзли к горлу. Пробую говорить, но не узнаю своего голоса — он какой-то грубый, чужой. Где найти выход?

Что если я еще заболела, к кому обратиться? Ничего не придумав, решила снова, в который раз, пойти к Межулисам. Стучу, но дверь не открывают, слышу голос дочки. Она говорит, что впустить меня они больше не могут, их дом на подозрении. Побрела назад мерзнуть в своем заснеженном убежище. Голос издает звуки не то петуха, не то собаки, но совершенно не человеческие. Мне нужно срочно отогреться, это было бы лучшим лекарством.

Силюсь убедить себя, что нельзя сдаваться. Нужно искать. Пробую еще раз счастье у Межулисов. Впустую. Я несколько раз приходила к их дому, стучала, но к дверям никто больше не подходил.

Куда еще пойти? Пускаюсь бессмысленно бродить по улицам. Вижу, на стенах наклеены объявления, написанные крупным шрифтом по-немецки. Читаю:

«Каждый, кто доложит властям о подозрительном лице или скрывающемся еврее, получит крупную сумму вознаграждения и много льгот...»

Иду дальше. Вошла в парк Зиедоню¹ на углу улиц Марияс и Артиллерийской. У входа в парк стоит уборная. Вхожу туда. Внутри тепло, просто блаженство. Кладу на горячую печь озябшие руки. Как здесь хорошо, может ли быть лучше! Да, сюда действительно днем можно приходиться греться — у меня уже зреют планы. Как только сюда кто-нибудь входит по надобностям, я немедленно сажусь на унитаз, чтобы не привлечь внимания. Когда уборная пустеет, снова прижимаюсь к печке. Чувствую, как приятно оттаивает давно не знавшее тепла тело. На руках появились большие волдыри, с них обильно вытекает жидкость. Голос все не меняется, внутренняя простуда пока не проходит.

1 Имеется в виду Зиедоньдарс (*латыш.* «Цветочный сад») — один из парков в центре Риги вдоль нынешней улицы А. Чака (разбит в 1937—1939 годах).

Время от времени сюда заходит женщина-вахтер, следящая за чистотой, но она безразлична ко мне, как и к другим посетителям.

На другой день я прибегаю в уборную уже с самого утра — эта печка всю ночь не выходила из моей головы. Стою и грею руки. Вдруг входит симпатичная фрейлейн-брюнетка, подходит к печке и становится рядом со мной, тоже греется.

— У меня здесь свидание, — отвечает она на мой недоуменный, вопросительный взгляд, — сюда ко мне должны прийти.

— У меня тоже свидание, — говорю я ей.

Мы продолжаем стоять вдвоем. Вскоре появляется старуха, страшно ободранная, словно бродяга, в лохмотьях, в рваных башмаках. Расползшиеся чулки у пят зияют большими дырами. Сама она высокая, тощая и сильно сторбленная. Увидев друг друга, они радостно бросаются целоваться.

— Как я давно тебя не видела! — восклицает старуха.

— Как ты поживаешь Лилита? Как твои дела?

Молодая в ответ начинает рассказывать, что приехала в Ригу без мужа и посещает какую-то знакомую.

— Ну, а как твои дела, где ты живешь?

— Я живу, как настоящая бродяга. Карточки у меня нет, и ночью где придется — когда на чердаке, когда в сарае, и так все время, — поведала старуха о себе.

«Что это такое, — думаю я, — неужели мне грезится сон. Она же не еврейка, почему она живет так?»

Для меня сушая загадка эта странная старуха. Лилита тем временем развязывает свою котомку и достает мешочек с сухарями. Она угощает свою собеседницу, а также и меня и продолжает разговаривать со старухой:

— Слушай, я дам тебе адрес. Пойди на Сколас, 10, и за одну марку в сутки сможешь там переночевать. Одно лишь нехорошо там: хозяйка никого не прописывает. Ты скажи, что это я тебя послала.

— Нет, — возразила старуха, — я не пойду, меня, такую оборванку, она наверняка не примет, у меня есть одно место...

Обе женщины, вволю наболтавшись, ушли. Приблизился вечер. Я хорошо запомнила адрес — Сколас, 10. Меня сразу же осенила шальная мысль явиться от имени Лилиты.

Дверь открыла страшно истощенная женщина лет 55—60.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Меня к вам послала Лилита, — отвечаю. — Я приехала из далекой деревни и не нашла в городе родственников, а в дороге простыла. Я бы хотела у вас остаться, если это возможно.

— Ну, если вас послала Лилита, то можете остаться. Заходите.

Она повела меня наверх к себе. Ее квартира находилась на чердаке и состояла из одной комнаты и кухни. Комната была отгорожена длинной ширмой. В ней стояла широкая деревянная кровать темного цвета, рядом — глубокое кресло. Окошко — в потолке кухни, и кажется, свет падает прямо с неба. В комнате спит хозяйка и еще одна старая женщина, но она не обращает на меня внимания. Она сидит на низкой скамеечке и кашляет.

Я попросила у хозяйки стакан горячего чая. Она принесла и указала на кровать: здесь я буду спать, там — туалет и т. д. Я легла в постель не раздеваясь, лишь сняла пальто. Только я немного отогрелась и вздремнула, как слышу голос. В сопровождении хозяйки какой-то мужчина входит на кухню.

Молнией я спрыгнула с кровати, влезла в кресло и свернулась клубком, укрывшись пальто. Слышу приближаются шаги, незнакомец подошел к кровати, но не нашел там никого. Зажигает спички и бросается ко мне в кресло, хватая за плечи.

Я дико вскрикнула.

— Что вам нужно? Не трогайте меня! Он отпрянул от меня и пошел к хозяйке с претензией:

— Что у вас сегодня происходит, кто эта женщина?

— Не знаю, — говорит хозяйка, — ее прислала Лилита.

Пробыв еще недолго, мужчина ушел.

Когда я услышала, что захлопнулась дверь и пришелец убрался, я подошла к хозяйке с вопросом:

— Кто был этот мужчина? Что он хотел от меня? Почему вы послали его ко мне?

— Я не понимаю, — отвечает она, — если Лилита тебя послала сюда, то что ты хочешь, о чем ты спрашиваешь? Она разве тебе не говорила?

— Я вам заплачу за ночлег, сколько вы захотите, — говорю я ей, — только дайте мне спокойно переночевать.

— Нет, — отвечает она, — у меня свои клиенты, и мне нужны для них молодые женщины. Лилита сама тоже приходит сюда и даже вместе со своими клиентами.

«Боже мой! — думаю я в ужасе. — Куда я попала, это же притон!»

Я пробую договориться с ней:

— Послушайте, я вам заплачу столько, сколько вы получите с такого клиента, только дайте мне отдохнуть, я простужена и очень больна.

Хозяйка подобрела, обещает, что не впустит никого, и я снова ложусь в кровать.

Опять стучат в дверь. Я отчетливо слышу немецкую речь: они переговариваются за закрытой дверью. Затем дверь открывается, и она впускает немца, но говорит ему, что у нее никого нет для него. Тот упирается, не хочет уходить, но постепенно успокаивается и стихает, слышу, как хозяйка тормозит его, пытаюсь выпроводить:

— Как долго это будет продолжаться? — говорю я, когда он, наконец, убрался. — Я же плачу вам за ночлег!

— Этому я не могла отказать, потому что он мой постоянный клиент, — отвечает она. — Он мне принесит колбасу, которую ни за какие деньги теперь не достанешь.

Все же она уверяет меня, что теперь я могу спать спокойно: больше никто не придет. И действительно, после этого всю ночь было тихо. Под утро хозяйка начала кашлять, да так сильно, что я не могла это вынести. Она харкала кровью.

— Что с вами? — спрашиваю ее.

— Проклятый туберкулез лезет из горла. А тебе-то какое дело? И после небольшой паузы вновь стала допытываться:

— И как ты вообще попала ко мне?

— Я не осуждаю вас, но я бы не могла так жить, хоть стреляй в меня или насыпь горы золота, — отвечаю я ей.

— Каждый может жить, как ему вздумается, это его дело.

— Могу ли я здесь остаться еще на одну ночь, или снова придут клиенты? Прошу вас, откажитесь на несколько дней от всех ваших клиентов, я за все заплачу. Деньги у меня есть. (Берзиньши дали мне 100 марок.)

Хозяйка в конце концов сдалась. Днем она накормила меня горячим обедом, угостила копченой салакой.

Пока все идет хорошо.

— Мне бы остаться здесь на пару дней, и я избавлюсь от простуды.

Наступил второй вечер. Хозяйка говорит, что сегодня Рождество. С улицы доносятся выстрелы — это салют с фейерверком. Небо все в густых разноцветных брызгах.

Ночью снова барабанят в дверь, стучат почти непрерывно, но хозяйка никого не впускает. Немного погодя она подходит ко мне и говорит тревожно:

— Я не могу так, они могут разозлиться и донести, ведь это у меня недозволенное дело.

Я думаю лишь об одном: как бы дождаться утра. Лежу и вздрагиваю от малейшего звука за стеной. Наконец, наступает утро.

Я собралась, расплатилась и начинаю прощаться с хозяйкой. Спрашиваю, не может ли она порекомендовать мне другое надежное место, где бы можно было остаться на несколько дней.

— Да, я знаю одно, — отвечает она, — но там не лучше, чем у меня, та хозяйка занимается тем же делом, а вдобавок комната из фанерных стен, ну и, конечно, пьяных приходит много, как ты сама видела. Смотри сама, других мест не знаю.

Словом, нужно уходить. Опять я в холодной, пустой квартире, опять сижу на полу на газетах и мучительно ищущу, к кому бы еще обратиться за помощью. Моя болезнь все прогрессирует. Снова, в который раз, сортирую всех знакомых, просеиваю через сито памяти: как зовут, где живут, силуюсь вспомнить все, что удастся.

Мне приходит на ум фамилия одной русской семьи, жившей до войны где-то на Московской, но никак не могу вспомнить точного адреса, лишь смутно припоминаю район. На другой день я стала искать этих людей, наводя справки в каждом доме, в каждом дворе, но никто ничего не знал о них. Должно быть, они эвакуировались.

Затем я вспомнила своих знакомых по фамилии Шперс. Это мать с дочкой, они жили у меня на квартире в 1938 году. Я направилась к ним, оказалось, что по старому адресу они больше не проживают. На этот раз решила рискнуть и отыскать их через адресный стол.

В приемной полицейского участка много народу. Предстояло долгое ожидание. От натопленной печи исходило приятное тепло. Страшно усталая от бессонных ночей, я незаметно забылась и крепко заснула. Когда я в страхе очнулась, моя очередь уже давно прошла. Всего осталось несколько человек. Я стала последней, и на мой запрос мне выдали справку: Гитлерштрассе, 101¹. Схватив бумажку с адресом, я вихрем понеслась по улицам: наконец-то, найду своих добрых знакомых — они целый год снимали у меня комнату, и мы были в приятельских отношениях.

Дверь открыла старшая Шперс и провела в дом. Теперь они жили в отдельной двухкомнатной квартире. Понятно, они меня не узнали — как из-за безобразного внешнего вида, так и из-за странного петушиного голоса. Мать с дочкой смотрят на меня подозрительно, как на бродягу. Я напоминаю им:

— Помните Фриду? Вы снимали у меня комнату на Кришьяня Барона, 55/13. Я чудом избежала смерти и теперь скитаюсь. Помогите мне, спрячьте где-нибудь, не то я погибну.

Мои слова ошеломили их. Старушку от страха лихорадит, дочь стоит оцепеневшая, неподвижная, не может произнести ни слова, руками обхватила голову.

— Какой ужас! Иезус Мария! — бормочет мать.

— Нам страшно, у нас негде спрятаться, к нам часто приходят знакомые, может дознаться племянник, он айзсарг, мы все погибнем...

— Я залезу в какой-нибудь темный уголок, никто не услышит меня и не увидит, не бойтесь, — пытаюсь я их уговаривать и успокоить. — Дайте мне остаться только на эту ночь.

Они стоят как вкопанные, будто лишились дара речи, не говорят ни «да», ни «нет». Не дождавшись ответа и согласия, я быстро, словно собачонка, юркнула за какой-то предмет, укрылась и лежу неподвижно.

В ту ночь они все же меня не выгнали, но больше никогда не впускали. Я несколько раз приходила к ним, звонила, стучала, но они не подходили к дверям.

Прошло еще несколько дней в скитаниях. Я окончательно убедилась, что никто из моих городских знакомых не протянет мне руку помощи. Кончились запасы еды, нет денег. Нет просвета.

Последняя надежда — Берзиньши. И я решила пойти в деревню, в те кровавые места у Румбулы, которые навсегда стоят у меня перед глазами.

С наступлением сумерек я была уже в ближайшей деревне. Зашла в какой-то дом. Сидит подвыпивший старик, рядом его невестка, несколько детей, все смотрят на меня.

— Могу ли я у вас переночевать, — обращаюсь к ним полатышски. — Я иду пешком из Риги к своим друзьям в деревню, еще далеко идти, уже поздно, сегодня мне никак не добраться.

Они разрешили.

— Мне, главное, хорошо прогреться, — говорю им. — Если можно, я сяду у печки.

Молодая хозяйка принесла доску и укрепила ее так, чтобы я могла вытянуть ноги, греясь у горячей печки. Сажусь. Мне тепло. Что может быть лучше? Стали ужинать.

Они усадили меня за стол и угостили мелко нарезанной картошкой, зажаренной с кусками свинины, а сами смотрят на меня подозрительно, буду ли есть.

— Ну, кушайте, вкусно ведь, — подбадривает меня молодуха.

1 Так в 1942—1944 годах называлась улица Бривибас.

Я никогда в жизни не пробовала свинины, даже не представляю, какой у нее вкус¹. Теперь это мое испытание. Я должна это кушать с аппетитом.

Ем все подряд, я очень проголодалась, вкуса все равно не ощущаю, внутри у меня все пересохло и зачерствело, мне кажется, я могу обходиться уже почти совсем без еды: кусок корки в день и немного воды — этого для меня уже достаточно.

На второе молодуха налила всем суп. Я отказываюсь, говорю, что наелась досыта, прошу лишь стакан чаю и то потому, что простужена.

— Да, городские жители, которые живут на то, что дают по карточкам, могут быстро ноги протянуть, — вступает в наш разговор хозяин.

— Ко всему можно привыкнуть, если приходится, — возражаю ему.

Мы болтаем еще недолго о пустяках. После ужина старик улегся спать в той же комнате, а невестка с детьми ушла во вторую — спальню. Я тоже хочу лечь.

— Мне ничего стелить не надо, — предупреждаю хозяйку. — Я лягу, не раздеваясь, на голые доски и укурюсь пальто. Мне только бы хорошо согреть ноги у печки. Старик зовет меня спать к себе.

— Я же больна, — говорю ему, — ты же слышишь, какая я охрипшая, вот выздоровею, — мы еще встретимся, я с удовольствием приду на свидание.

— А где ты живешь, моя невестушка? — старик все не унимается, не может заснуть. Я называю свой городской адрес.

— Дай я тебя хоть поглажу и поцелую, мне и этого будет достаточно, я буду знать тогда, что ты — моя невеста.

Я готова пообещать ему все что угодно, лишь бы он отстал от меня.

В избе тепло, хорошо, я раздеваюсь, упираюсь ногами в печку. Давно не испытывала такого блаженства и наслаждения.

Никакой врач не придумал бы лучшего лекарства, чем эти горячие кирпичи, от которых медленно оттаивают мои промерзшие кости. Погружаюсь в глубокий сон. Вдруг просыпа-

1 Иудейская религия запрещает употребление в пищу свинины. Ряд исследователей считают, что евреи заимствовали это религиозное предписание у древних египтян, у которых свинья тоже считалась нечистым животным, в то время как в Двуречье, откуда, согласно Библии, происходили предки еврейского народа, свиньи свободно разгуливали по улицам и их даже приносили в жертву языческим богам.

юсь. Где я? Ах, да, вспоминаю. Так вот где настоящий рай? Слышу, как громко храпит старик, и опять засыпаю.

Утром молодая первой прошла по комнате, и я сразу поднялась. После ночного пропаривания чувствую себя совсем другим человеком, голос стал более человеческим, хоть все еще «пускаю петуха», но стало намного легче. Мне бы две-три такие ночи, и я смогу уже держаться дальше. Старик тоже встает. Он на меня в обиде. Надо уходить.

— Идем, я провожу тебя, — говорит он.

Я хочу заплатить за ночлег и гостеприимство, но они наотрез отказываются. Я благодарю их и ухожу. Старик рассержен и бросает мне вдогонку:

— Почему ты меня обманула?! Если бы узнал все это мой сын, ты бы отсюда так не ушла. Я пропускаю его слова мимо ушей, еще раз благодарю за прием и быстро ухожу.

Вот и хутор Берзиньшей.

Они все время волновались, не погибла ли я, и были мне очень рады. Мой рассказ о моем городском житье-бытье их растрогал. Но оставить меня в доме опасно: за хутором установлена слежка. Я должна незаметно выйти из дому и ждать в лесу, туда они принесут мне корзинку продуктов.

— Но где мне остановиться, куда идти дальше?

— Пока иди в город, — отвечает старик. — Мы подыщем тебе место, а в следующий раз, как придешь, скажем.

И снова я иду в свою холодную пустую квартиру. Но, к счастью, мороз спал. Стало теплее. Падает мокрый снег. Придя к себе, сажусь на пол и заставляю себя есть, силюсь не падать духом. Порой начинает казаться, что так будет вечно. По звукам, доносящимся из соседних квартир, можно заключить, что там теперь живут. Вероятно, за последние дни наскоро отремонтировали комнаты и поселились. С моим убежищем может случиться то же самое. Здесь опасно оставаться, но идти мне некуда. День за днем проходит в таком страхе и предположениях. Две недели кончились. Теперь можно снова к Берзиньшам.

Я уже довольно смело стала ходить по улицам города. Иду по Московской. Смотрю: впереди два шуцмана ведут группу женщин с рюкзаками за спиной. Куда их ведут? Ну, конечно, в Румбульский лес!

Меня охватывает страшное чувство, как если бы я шла с ними рядом. Может быть, закричать, чтобы они разбежались. Но что изменится от этого?!

Я прохожу мимо несчастных, мчусь дальше и дальше — за город.

Группа исчезает из виду, и я бегу и плачу...

Было страшно холодно. Выбившись из сил, я забрела в какой-то дом отогреться. Говорю хозяйке, что иду к знакомым на хутор за продуктами, на одни карточки, мол, трудно прожить.

Она велит мне усесться на печку, отрезает ломоть хлеба и толсто намазывает свиным жиром. Я благодарю ее, беру хлеб, но как бы мимоходом бросаю, что мы, городские, не привыкли к такой жирной пище, и прошу у нее нож. Я снимаю слой жира и тогда только ем. Хозяйка удивляется.

— Как можно обойтись продуктами, что выдают вам по карточкам? Как хорошо все-таки немцы сделали, что уничтожили всех жидов! Наконец-то вздохнули свободно!

О чем мне с ней говорить дальше. Она не догадывается, кто я, и то хорошо.

— Дай Бог, чтобы тебе пришлось когда-нибудь быть в моей шкуре, — желаю я ей про себя на прощание, а вслух благодарю за угощение и ухожу.

Еще километра три — и я у Берзиньшей. Я стала у них частым гостем. До сих пор все сходило благополучно. Постепенно они привыкли ко мне, как к близкому родственнику. Меня сажают за стол, угощают горячим молоком.

Берзиньши теперь живут в незаконченном новом доме.

Сегодня они все в сборе, сидят и думают, куда бы меня пристроить. Предлагаются и отбрасываются несколько планов. Но тут отец Берзиньш вспоминает, что в старое время знал одну придурковатую адвентистку¹, она проживает в Чиекуркалнс под Ригой². Адрес ее он восстанавливает, рассуждая вслух, перебирая ему одному известные приметы. Ее зовут Песла. Подход к ней должен быть особый. Ей нужно помочь продуктами. Прийти к ней надо непременно в пятницу под вечер, у нее суббота святой день. Она помешана на суевериях.

— Когда она спросит тебя, кто ты, говори, что тебя к ней послали небесные ангелы, чтобы помочь ей. Я думаю, она поверит и впустит. А когда кончатся продукты, приходи к нам снова, мы всегда наполним твою корзиночку, — говорит старик.

1 Адвентисты — христианское протестантское течение, возникшее в 30-е годы XIX века в США. Верят во второе пришествие (латин. *adventus*) Христа и тысячелетнее царство Божие. Наиболее крупное ответвление — адвентисты седьмого дня, верящие в скорое наступление этого события и Страшный суд, который решит конечные судьбы мира и человечества.

2 Чиекуркалнс — с 1924 года часть города Риги, до того промышленный и рабочий пригород.

ПЕСЛА

Я благодарю их от души, на прощание мы целуемся. Они желают мне удачи. Надо уходить. За колючей проволокой по Московской улице — гетто. Там тихо, пусто и мертво.

Я крадучись проскальзываю в квартиру. На другой день направляюсь в Чиекуркалнс, нахожу 1-ю линию и сворачиваю в нужный переулок. А вот и дом Песлы. Приближаюсь к дверям. Сердце колотится, замирает. Стучу в дверь и спрашиваю:

— Здесь живет Песла?

— Кто ты такая?

— Меня послали к тебе ангелы с неба, впусти меня, ради Бога.

— Я лежу уже в постели, и мне трудно подняться, — глухо ворчит старческий голос.

— Милая, уже поздно, я должна передать тебе гостинцы и не могу ждать, — продолжаю ее уговаривать. Наконец, она поднялась и подошла к двери, сняла защелку и — тотчас в постель. Я вошла.

— Не обижайся, — говорит Песла, — что принимаю тебя, лежа в кровати, темно, электричества нет, лежать лучше всего. Кто ты и откуда пришла?

Я упала на колени, прижалась крепко к ее груди и расплакалась, как если бы обнимала родную мать. Я начала рассказывать о себе.

— Ты будешь моей дочерью, — приласкала меня Песла, выслушав мой страшный рассказ.

Я плачу, не могу сдержаться.

— Это Божье чудо, — говорит Песла. — Погибли дети Израиля, а ты избрана Богом, потому Он тебя спас и послал ко мне. Я буду тебя беречь, как святую. Ты одна теперь за весь свой народ.

От потрясения и радости я даже не почувствовала, что стою на коленях в куче кошачьих испражнений.

Кровать Песлы на кухне. Здесь стоит плита, уставленная пустыми горшками, и маленький столик. Кровать кишит кошками: большими, маленькими, всевозможных мастей и размеров, они греются у Песлы — кто у ног, кто у изголовья. Пол под кроватью и вокруг — сплошь в кошачьих нечистотах. Я осталась лежать на кровати, прижавшись к Песле, и так мы задремали в компании ее котов.

Наутро Песла привела меня во вторую большую неотапливаемую комнату. Здесь стоит буфет, большой стол, три венских стула и музыкальный инструмент — нечто вроде старинного органа. В углу у печи — кучка дров, вокруг валяется всякий хлам.

Я достаю из своей корзинки творог, хлеб, масло, яйца.

Песла обрадовалась, что Всевышний помнит о ней и не оставляет ее, и продолжает бормотать слова благодарности. Она достает старую толстую немецкую Библию, находит в ней то место, где говорится, почему на еврейский народ обрушился гнев Божий, и читает.

Она заставляет меня стать на колени.

— Нужно молить Бога, петь ему псалмы и играть на органе, как это делал царь Давид. Бог услышал его голос, смилостивился и подарил ему вечное царство.

Песла сердится на меня, за то, что я не молюсь.

Она садится перед своим органом и начинает петь. Она заставляет меня вторить ее пению. Но как мне петь, когда настрадавшееся сердце разрывается от боли и хочется только плакать? Но я пересиливаю себя и вполголоса подпеваю ей:

— Благословляй день и ночь Господа Бога, проси Его, и Он тебе поможет, — без конца повторяет Песла.

В этих бесконечных молитвах проходит субботний день. Настало воскресенье.

Я вычистила дом, помыла пол, убрала нечистоты и поставила для котов ящик со стружками, чтобы больше не гадили по всей квартире. Мне хотелось привести в порядок и постель Песлы. Но где там! Это была сплошная навозная куча. К перине нельзя было даже притронуться, она прогнила насквозь, пропитанная вонючими испражнениями котов... и самой хозяйки.

Песла обмотана мокрыми тряпками, которые тоже прогнили, ибо она страдает недержанием, а белья постельного для смены у нее нет.

Она выглядит одутловатой и всегда спит в одежде. Даже ее единственное пальто, с которым она почти не расстается, тоже промокло, провоняло.

Я отмыла горшки от въевшейся грязи и копоти. Песла, правда, отговаривает меня, говорит, что делаю лишнюю работу, занимаясь посудой, потому что коты вылизывают ее начисто и насухо, а язычки у котов ведь совершенно чистые, но я ее не слушаю.

Моя Песла ожила, я ее избавила от смрада, беспорядка и голода. Она была счастлива и глубоко верила, что Бог послал ей меня.

Я прибрала также и в большой комнате. Но порядок сохраняется ненадолго. Ее коты избалованы и по укоренившейся привычке гадят по-прежнему на полу и в постели. Мой ящик им явно не по вкусу.

Мне казалось, что я смогу спать с Песлой на кухне, но это невозможно. Домик, где Песла живет, густо населен. К ней часто заходят соседи. В домике несколько квартир, а уборная в коридоре общая.

Мы договариваемся, что мне лучше быть в большой комнате, подальше от любопытных глаз. Там, конечно, холодно, но терпимо, зато воздух чище, чем на кухне.

Песла изливает на меня всю нежность своей любвеобильной души, постоянно хочет сделать что-то приятное. Она вспоминает, что осенью засолила томаты с собственной грядки и заставляет меня попробовать их. Томаты покрылись налетом плесени, но я, разумеется, не отказываюсь. Я с жадностью набрасываюсь на соленье и наедаюсь досыта. Но такое «обжорство» оказалось губительным для моего изголодавшегося желудка. У меня начались страшные боли, рези в животе, я буквально не находила себе места.

Песла настояла, чтобы я пошла с ней к ее врачу, живущему здесь же, в Чиекуркалнсе. Я согласилась. Доктор внимательно выслушал меня и поставил диагноз:

— У вас язва. Но не волнуйтесь, это не опасно. Я выпишу вам хорошие порошки, положите дома с грелкой, и все пройдет. Он сел писать рецепт:

— Пожалуйста, ваш паспорт?

Мне стало не по себе:

— К сожалению, у меня нет с собой паспорта, оставила дома, — отвечаю ему.

— Хорошо, я выпишу рецепт, а вы сами дома впишете здесь сверху номер паспорта. Он заполнил бланк. Мы благодарим его, расплачиваемся за визит и довольные возвращаемся домой.

Среди своего хлама Песла откопала железную печурку. Мы заполнили ее стружками и затопили. Постепенно она разгорелась. Я взяла все три венских стула, скрепила их вместе и соорудила постель. Под голову я положила большую книгу. Грелки у Песлы нет. Мы решаем налить горячую воду в две бутылки. Но где взять столько стружек, чтобы нагреть воду? Тут Песла вспоминает, что в сарайчике на дворе когда-то держали лошадь и там должны быть стружки. И действительно, в сарайчике мы находим кучки стружек в мерзлом конском навозе.

Я собираю заледенелые комья и выбираю из навоза стружки, щепки. С трудом набрали немного «топлива», теперь можно начать лечение: топить печку, греть воду.

Я ложусь на стулья и прижимаюсь к горячим бутылкам. Мокрые занавоженные стружки с трудом разгораются, тлеют, чадят, дым заполняет всю комнату. Но бутылки греют мои больные, насквозь промерзшие внутренности, и я постепенно погружаюсь в приятное глубокое забытие.

Мне снится, что я кому-то гадаю и меня душат (должно быть, я угорела). Я силюсь проснуться, но не могу поднять головы. Мне кажется, что засыпаю вечным сном. Так я проспала двенадцать суток.

Песла думала, что я умерла. Когда я очнулась, то была вконец разбитой и обессиленной, хотелось только лежать и не двигаться. Я лежу на голых жестких стульях, но мне чудится, что нежусь в пуховых перинах, а книга под головой гораздо мягче моей довоенной подушки. Мне так хорошо, что, не вставая, я лежала бы до самого освобождения, которое, мне кажется, вот-вот должно наступить.

Но нужно подниматься. Я перекачиваюсь на бок, соскальзываю со стула и, как пьяная, держась руками за стулья, чтобы не упасть, подхожу к Песле. Она тоже не то спит, не то дремлет — другого занятия у нее нет. В доме пусто, есть нечего. Продукты уже кончились и мои, и по ее карточкам — в этот месяц она уже выбрала всю норму.

— Моя доченька, — лепечет Песла, — стань на колени и попроси Господа, чтобы Он дал тебе сил и удачи пойти в деревню к добрым людям за продуктами.

— Но у меня совершенно нет сил, — отвечаю я ей, — мне же нужно сперва подкрепиться, иначе ведь мне не дойти. Песла размышляет:

— Знаешь что, зайди в комнату, посмотри в буфете, мне кажется, там рассыпана мука, попробуй собери ее и свари кашу.

Я плетусь к буфету. Здесь в самом деле лежит ссохшаяся, перемешавшаяся с мышинным пометом мука. Я соскребла ее

ножом, прочистила и сварила какое-то варево, напоминающее кашу. Мы с Песлой принялись есть. Впервые после двенадцати дней поста я коснулась пищи.

— Теперь, с Божьей помощью, ты можешь идти, — сказала мне Песла, когда мы поели.

Я собираюсь в дорогу и ухожу. Стоит сильный мороз, от слабости у меня подкашиваются ноги, двигаюсь медленно, короткими шажками, в голове туман. Иду долго. Вот и большая Московская улица. Ноги уже привыкли к движению, становится как будто легче.

За городом в открытом поле разыгрался настоящий буран. Меня бросает из стороны в сторону. Стужа пронизывает насквозь. Я до сих пор не понимаю, как мне в тот раз удалось добраться к Берзиньшам через открытое заснеженное поле по бездорожью.

Берзиньши были искренне рады тому, что я, наконец, нашла себе пристанище.

У них я отогрелась и пришла в себя. Они накормили меня досыта, наполнили корзинку продуктами для нас с Песлой. Становилось темно, вьюга все не стихала. Я решила рискнуть и поехать поездом. Ближайшая станция Шкиротава. Прихожу туда. Поезд на Ригу будет скоро.

Тьма кромешная, разглядеть лицо человека нельзя.

Я сажусь в вагон и, как барыня, приезжаю в Ригу. Соседи-пассажиры ко мне любезны. Какой-то мужчина помогает мне сойти на перроне в Риге и даже предлагает помочь отнести корзинку. Должно быть, сочувствие вызывает мой маскарад. Мне трудно сейчас представить себя горбатой, в длинном деревенском пальто, до глаз закутанной в грубый шерстяной платок, но иначе как «бабушка» меня тогда не называли.

К Песле я явилась с гордым чувством совершенного подвига и раскрыла перед ней корзинку. От радости она не знала, что со мной делать. Это чудо! Конечно, это от Бога, а я исполняю Его волю. Так думает Песла, уверенная, что ее окружают святые.

Сперва, конечно, Бог, потом я. Она очень горда мною — ее дочерью.

Идут дни. К Песле приходят судачить какие-то бабы. Я прислушиваюсь за стеной большой комнаты. Раз Песла расхвасталась перед одной, что Бог прислал ей в подарок на редкость удачную дочурку, прилежную, никогда прежде у нее такой в доме не было. Под старость лет она счастлива. И в таком духе она еще долго продолжала осыпать меня комплимен-

тами. А у меня темнело в глазах и бросало в жар от ее слов, добром это не кончится, дождемся беды.

Еще несколько раз мне приходилось ходить в деревню за продуктами. Моим друзьям самим жилось нелегко, семья была большая, естественно, я не могла постоянно к ним обращаться. Нужно было искать другие места.

Раз мне удалось на одном хуторе купить немного картофеля, моркови и творогу. Лицо хозяина мне показалось знакомым. Разговорившись, я узнала, что это латыш Шустерман. Он тоже узнал меня. Я рассказала ему о себе, а Шустерман рассказал, что сам видел, как немцы привезли на станцию Румбула большой товарный состав с евреями. Многие уже замерзли в пути, их грузили на грузовые машины.

— Я никогда не забуду, — продолжал Шустерман, — как немец вырвал съездившегося, уже законченного ребенка из рук еще живой матери и сорвал с него шубу. Некоторые еще подавали признаки жизни. Их бросали вместе с трупами и закапывали живьем в одной общей большой яме.

Это был транспорт с женщинами и детьми, доставленный на уничтожение в Латвию из Германии.

С тяжелым чувством прощаюсь я с Шустерманом и снова возвращаюсь к Песле.

*

Наступает суббота. Песла говорит, что надо молиться Богу, а Он ниспошлет нам чудо и избавление.

Проведать Песлу приходит какая-то дама. Я не выхожу из комнаты, жду, когда она уйдет. Неожиданно Песла входит с ней ко мне и знакомит нас. Песла рассказывает гостье, как я спаслась и как очутилась у нее. Женщина обнимает меня, целует, мы обе плачем, а потом вместе становимся на колени и славим Господа за Его деяния и чудеса.

Дама эта — госпожа Шейнк, миловидная немка, аккуратно и со вкусом одетая. На вид ей лет сорок.

— Если ты хочешь, — обращается ко мне после молитвы мадам Шейнк, — то можешь иногда прийти ко мне постирать для нас белье, но, разумеется, будь осторожна, так как в нашем доме на втором этаже живут офицеры СС и штабные.

Она доверительно рассказывает, что помогает продуктами двум евреям — отцу и сыну. Они, конечно, платят ей драгоценностями. Но главное, они просили найти им убежище. Они обещают ей большую сумму. Мадам Шейнк рассчитывала на квартиру Песлы, но сейчас из-за меня это, понятно, исключается.

Мадам Шейнк соглашается с Песлой, что все это предначертано свыше, такова Божья воля. Мы на прощание целуемся, и, растроганная до слез, госпожа уходит.

Прошло два дня. В понедельник поздно вечером в нашу дверь громко застучали. Два грубых мужских голоса угрожали:

— Открывайте, где ваша птица, которую прячете?! Я оцепенела от страха и спряталась в комнате.

— Не знаю, может, она куда вышла, — ответила Песла испуганно и впустила их.

В доме тьма, ни лампы, ни электричества. Они начали искать сперва в коридоре, зажигая спички, а затем двинулись в кухню и комнату, шаря по всем углам, под кроватью, за шкафом, пока не обнаружили за дверью меня.

— За нами! — приказали мне полицаи и потащили к дверям. Песла закатила глаза и осталась лежать в постели. Заломив руки, она с плачем взывала к небу.

Два шуцмана ведут меня по улице.

— Вот меня снова ведут на казнь, — думаю я, и все во мне холодеет от ужаса, подкашиваются ноги.

Меня привели в полицейский участок. Там сидело несколько фашистов. Помещение было довольно большое. Стоял длинный стол, стулья, топились высокая круглая железная печь. Им прямо-таки уютно, тепло, горит яркий свет, на столе телефон. Один шуцман стоит и чистит свою винтовку.

«Это для меня», — думаю я.

Сидящий за столом полицейский подзывает меня:

— Кто ты такая и как тебя зовут?

— Кто я? Женщина, конечно, — отвечаю я, прикидываясь дурочкой.

— Расстегни пальто! — приказывает он. Расстегиваю пальто. Должно быть, я была очень худой, истощенной и ободранной, и все это так «шло» к моим глупым ответам, так вязалось с моей ролью темной деревенской дурочки, что они, кажется, начинали мне верить.

— Меня зовут Анна Шульц, — вырвалось у меня наобум.

— Как, как?! — возмутился один из полицейских, который привел меня. — Песла называла другое имя!

— Нет, что вы, Песла перепутала.

— Скажи, а в каком году ты родилась? — продолжал шуцман допрос.

— Не помню, кажется, в 1905.

— И где ты родилась?

— Я жила в Гулбене и в других разных местах.

— Я спрашиваю тебя, где ты родилась, а не где жила, — терпеливо допытывался он. — Не знаю, родители мне об этом не говорили.

— Иди выспись, ложись вон на тех стульях, — сказал он мне, прекращая допрос.

«И то счастье, — думаю, отходя от стола, — что проживу хоть эту ночь». Готовлюсь ко сну, расставляю стулья. Конечно, мне не спится.

Тем временем шущман, который меня допрашивал, принялся по телефону наводить справки. Он звонил в одно место, в другое, просил сведения об Анне Шульц. И вот он подзывает меня снова к столу и спрашивает:

— Послушай, может быть, ты родилась в Дзербене?

— Конечно, в Дзербене, именно там я и родилась. Теперь я вспомнила! — ухватила я за этот спасительный шанс.

— Почему у тебя нет документов? — шущмана все-таки не оставляют сомнения.

— Я их потеряла.

— Как же ты живешь без карточек?

— Я совсем больная и ничего не могу есть, все что ем, я медленно вырываю.

— Присядь сюда, — сказал он.

— Возьми вот поешь бутерброд с сыром, — предложил он и развернул завернутый в бумагу пакет. Затем он снова обратился ко мне:

— Пойди завтра с самого утра в префектуру и выправь себе паспорт.

— Куда же мне идти брать паспорт?

— Я же сказал — в префектуру.

— А где находится префектура?

Я все в своей роли.

Он достает листок белой бумаги, пишет адрес, рисует, как мне туда добраться и поучает:

— Когда ты придешь туда завтра, скажи им, что ты Анна Шульц из Дзербене и потеряла паспорт, они тебе выдадут новый, а теперь иди домой.

Я не верю своим ушам, голова не в состоянии осмыслить это чудо.

Я побежала ни жива ни мертва к Песле. Она в постели, в той же молитвенной позе, лицо красное, заплывшее от слез, губы что-то бормочут.

Когда я зашла, она слегка повернула в мою сторону голову, и я припала к ней, целую и плачу. Я снова воскресла из мертвых. Песла меня успокаивает:

— Я знала, что ты вернешься, потому что я так много плакала и просила Бога за тебя и за себя, что Он не мог не услышать, — видишь, вот, и пришла. Я и вправду начинаю верить ее молитвам и причитаниям. Может быть, это и есть истинная вера? Мы обе становимся на колени и отрешенно предаемся молитве, благодарим Бога за Его непостижимые чудеса.

Завтра с утра мне нужно покинуть Песлу. Но куда идти? Я долго размышляю и решаю пойти к мадам Шейнк. Она же два дня тому назад приглашала меня стирать белье.

Правда, там тоже небезопасно, но у Песлы более нельзя оставаться ни дня, могут прийти и проверить. Я думаю, что это донесли дворник и домоуправ, разнюхав, что Песла прячет подозрительную женщину.

Наутро мы стали прощаться. Песла выискивает какой-то псалом, который предусмотрен, как она уверяет, именно для такого случая.

Мы поем и отчаянно просим Бога помочь нам, ниспослать милосердие.

ФРАУ ШЕЙНК. ОЛИВИЯ. ВИЛЮМСОНЫ

Госпожа Шейнк бездетна, она с мужем живет недалеко от Песлы, по улице Лаймдотас, на первом этаже красивого двухэтажного особняка.

Приближаюсь к ее дому. Стучу в дверь. Выходит фрау Шейнк, впускает меня. Обнимаю ее, целую и, заливаясь слезами, рассказываю, какие чудеса со мной приключились в последний день. Она ведет меня в какую-то комнатку и велит раздеваться. Она становится на колени, складывает ладони, молится и велит мне следовать ее примеру, повторяя слова и мелодию псалма. Закончив молебен, мадам Шейнк со страхом в голосе обращается ко мне:

— Куда бы мне тебя спрятать, чтоб и мой муж об этом не знал? А может, сказать ему, что я взяла женщину из деревни помогать по дому? Или лучше скажу, что это только на сегодня? Ну как ты думаешь?

Она не знает, что делать, мечется, ждет моего совета.

— Какую работу в доме ты могла бы делать? — спрашивает мадам Шейнк. Она на грани отчаяния.

— Я выполняю любую работу, я могу также шить.

— Это хорошо, что ты все умеешь делать, но главное — ты должна понравиться моему мужу, тогда мы все уладим.

Под вечер она велела мне выкупаться в ванне: она боится вшей. И вот впервые за эти долгие страшные месяцы я приняла ванну. Раздевшись, я только теперь разглядела себя: я была худой, как скелет, обтянутый дряблой кожей, — старуха лет под девяносто.

Ночевать мадам Шейнк отправила меня в погреб, чтобы муж думал, что я ушла.

Назавтра хозяйка нарядила меня в белый чепчик, белый передник и усадила за швейную машину строчить мужу белье, рубашки. В работе проходит час за часом.

Неожиданно входит сосед-эсэсовец и спрашивает мадам Шейнк, дома ли ее муж. Я не обращаю внимания и продолжаю работать, хоть от страха сжимаюсь в комок, меня лихорадит, не слушаются руки.

— Он будет только после обеда, — любезно отвечает она. — Я передам мужу, что вы интересовались им, он зайдет к вам.

— Благодарю вас, мадам.

Эсэсовец щелкнул каблуками и вышел.

— Твое счастье, что ты не обернулась, — возбужденно заговорила Шейнк. — Это тот самый офицер СС, который учит всех своих знакомых, как по специфическому выражению глаз безошибочно опознать еврея.

— Скажите, пожалуйста, зачем же вы посадили меня в передней, где любой, кто зайдет к вам, сразу увидит меня? — спрашиваю ее.

— На виду — это не так подозрительно, — возражает мадам Шейнк. — Хуже, если заметят, что я скрываю тебя где-нибудь в отдаленных комнатах.

Три ночи я провела в подвале. Больше она скрывать меня от мужа не могла и, наконец, открыла ему всю мою историю.

Господин Шейнк работал в городе в какой-то конторе, он не адвентист и не фашист, но со своими соседями-эсэсовцами в очень хороших, почти приятельских отношениях, правда, не принимает участия в их делах и пирушках.

Сперва он был настроен недоброжелательно, сдержанно-подозрительно. Но присмотревшись, как я усердно работаю: шью, стираю белье, убираю до блеска квартиру — и все это бесплатно, — господин Шейнк приходит к выводу, что в погреб для меня не место. Он распорядился, чтоб жена нашла мне место где-нибудь в квартире.

Мои хозяева живут очень богато. Их квартира состоит из трех больших, шикарно мебелированных комнат, просторной веранды, обширной кухни, девичьей и разных кладовок и коридорчиков, предусмотренных для всевозможных удобств.

Столовая и спальня обставлены гарнитурами роскошной мебели.

Позже я узнала, что эти комплекты мебели оставила им одна еврейская семья, их всех уже давно расстреляли, и Шейнк без страха владеет этим богатством.

Однажды утром, бледная и расстроенная, из спальни выходит фрау Шейнк и говорит мне, что, к сожалению, больше держать меня не может. Ее муж по ночам не спит, он боится, чтобы кто-нибудь не узнал обо мне. Из-за меня они теперь вынуждены держать дверь на замке, а это может показаться соседям подозрительным, никогда прежде у них этого не было.

Фрау Шейнк все же обещает устроить меня где-нибудь у знакомых и уезжает в тот же день куда-то за Двину. Однако возвращается она ни с чем. Никто из ее знакомых не соглашается идти на риск. Мы думаем вместе, как поступить, куда бы податься. На другой день она опять уезжает, на этот раз к другим знакомым, но результат все тот же.

Наступило воскресенье, уже ровно неделя, как я живу в доме Шейнк. Стучат в дверь. К мадам Шейнк приехала гостья. Входит симпатичная стройная цветущая немка. Говорит она быстро, задористо, немецкой скороговоркой, от нее так и веет молодостью и энергией. Мадам Шейнк очень рада ее приезду. Они большие друзья и давно не виделись.

Хозяйка знакомит меня с гостьей, она из деревни. Неожиданно мадам Шейнк выкладывает ей все обо мне. Молодая немка осматривает меня скептически, удивленно, пожалуй, сомневаясь в правдивости ее рассказа. Она никак не реагирует на него. Я начинаю первой:

— Вы ведь живете в деревне, может быть, я могла бы пожить у вас пару недель, я умею хорошо шить. Вы молодая фрейлейн. Посмотрите, как вы одеты? Я сошью вам модное пальто — вы будете совсем иначе выглядеть. Вы станете грациозной, элегантной, поверьте, вы сами себя не узнаете.

Я ее уговорила, и она согласилась, но с одним условием: она пойдет вперед, а я должна следовать за ней на некотором расстоянии.

Пробыв некоторое время, гостья собирается уходить, я тоже прощаюсь с мадам Шейнк, благодарю ее, и мы пускаемся в путь.

Мою новую покровительницу зовут Оливия. Она предупреждает, что ей нужно в городе зайти еще в одно место. Я на все согласна, держусь от нее на расстоянии квартала и не упускаю из виду, поспеваю за ее стремительным шагом.

Оливия приходит на улицу Артиллерийскую, 17, со мной она не разговаривает. Я вхожу вместе с ней. Здесь живут ее подружки, молодые девушки — Саша и Грета. Оливия и им рассказывает обо мне все, что она услышала от Шейнк. Саша с Гретой принимают меня дружелюбно, сочувствуют мне, приглашают сесть.

— Ты нас не бойся, мы ничего дурного тебе не сделаем, — успокаивают они меня, видя мое смущение. — Наоборот, мы будем молиться Богу и просить за тебя.

Они тоже строгие адвентистки.

Нам предстоит длинная дорога, задерживаться долго нельзя.

Мои новые друзья на прощание желают мне удачи, чтобы милосердный Господь Бог дал мне силы перенести все невзгоды и был ко мне благосклонен. Перед уходом Оливия присаживается на миг, я во всем ей подражаю и тоже сажусь. Она спрашивает, выдержу ли я 25 километров ходьбы.

— Я что угодно выдержу, даже сотни километров, лишь бы остаться в живых, — с уверенностью отвечаю ей, и мы выходим на улицу.

Опять шагаем так же: она — впереди, я — сзади. Пересекаем центр города, проходим мост через Двину, оставляем за собой Задвинье и останавливаемся у Бауского шоссе.

Дорога пустынна, редко встретишь человека. Вдруг вдали появляется черная точка. Мимо нас проезжает на санях мужик. Оливия идет ему навстречу и просит подвезти нас, но лошадь, не останавливаясь, несется вперед. Оливия ловка, как спортсменка: она легко прыгает в сани, а я остаюсь на дороге. Через мгновение бросаюсь вдогонку, бегу изо всех сил, сердце лихорадочно колотится, мне кажется, оно даже не удержится в груди от этого безумного бега. Не знаю, как мне удалось догнать сани и прыгнуть в них. Мы едем. Друг с другом мы не разговариваем, даже не переглядываемся: пусть думает, что мы чужие, лишь случайно встретившиеся в ожидании попутной подводки. Мужик, однако, не обращает внимания на наши хитрости. Он равнодушно держит вожжи, словно ничего не замечая, не смотрит по сторонам и понукает лошадь. Так мы несемся километров 15 до развилки дорог.

Здесь нам нужно свернуть. Оливия с той же легкостью выпорхнула из саней, я еще немного проезжаю и тоже прыгаю, бросаюсь плашмя на дорогу. Мужик невозмутимо погоняет лошадь и, не оглядываясь, продолжает свой путь. Подбегаю к Оливии.

— По этой дороге, — говорит она, — нам осталось еще семь километров, здесь никто не подвезет, придется идти пешком. Мы идем по проселочной дороге. Хутора встречаются редко, людей вообще не видно. Наступает вечер. Дорога ведет через лес, поля, заснеженные низины.

— А вот там, на горке, наш дом, — торжественно говорит Оливия, объявляя о завершении нашего путешествия,

«Здесь действительно рай, — думаю я про себя, — сколько еще есть мест, где могла бы спрятаться уйма народа из гетто, а никто этих мест и не знает. Один лес чего стоит, а стога сена, а горы, ложбины! Сколько здесь дыр и лазеек, какое счастье, что я попала сюда!»

Оливия вводит меня в избу. Старенькая мать бросает в мою сторону недобрый взгляд и спрашивает ее:

— Что за красавицу ты привела к нам?

Неловкое молчание. Оливия отводит мать в сторону и что-то говорит ей на ухо. Входит отец, высокий розовощекий старик лет семидесяти, с длинной пушистой белой бородой, как Дед Мороз на рождественских картинках. Он тоже, как и мать, очень расстроен, взволнован, что дочь привела в дом чужую, они все шушукаются, ссорятся, не знают, что со мной делать.

Оливия пытается успокоить мать. Отец ведет себя довольно сдержанно. Наконец, они сходятся на том, что на пару недель я все же могу здесь остаться. И на том спасибо. Я буду у них на положении гостыи. Они — местные балтийские немцы, адвентисты, по фамилии Вилюмсон. Позже я узнала, что они с Шейнками, Песлой, Сашей и Гретой состоят в одной секте.

Домик Вилюмсонов состоит из одной комнаты, объединенной с кухней. Посреди комнаты круглый деревянный столб, на котором покоится низкий потолок. В стене два небольших окна, на подоконниках горшочки с цветами. В углу кухни плита, а рядом дверь в недостроенную легкую пристройку. Там комната с фанерными стенами и одним большим окном. Они объясняют мне, что эта комната для лета, сейчас там, конечно, холодно, как на улице.

За окном темнеет. Вилюмсоны приступают к богослужению — традиционной адвентистской вечерней молитве. Затем у них ужин, после чего вся семья расходится ко сну.

Утром я тщательно изучила их дом и наметила себе углки и щели, куда можно будет спрятаться на случай внезапного прихода посторонних.

Из окна холодной пристройки виден соседний дом. Он выглядит более богатым: с большим хлевом, скирдами сена, штабелями досок.

Меж собой Вилюмсоны говорят по-немецки, но со мной — только по-латышски: мало кто может случайно зайти или услышать с улицы — и это вызовет подозрения.

Важнее всего не быть застигнутым врасплох, успеть вовремя спрятаться.

Вилюмсоны предупреждают меня: случается, что внезапно появляется на велосипеде чиновник или полицейский из упра-

вы с каким-нибудь объявлением или приказом, заглядывают и соседи. Собачка у них, правда, есть, но, как правило, она сонно лежит в доме под столом и начинает лаять лишь тогда, когда незнакомец уже в доме.

Я выполняю обещание, данное Оливии, и шью ей пальто. Меня усаживают за машину, и я приступаю к работе, которую быстро закончила. Пальто сидит на ней очень ладно и скрывает ее худобу.

— О таком пальто она могла только мечтать, — восторгается сияющая старушка-мать, когда мы все сообща обсуждаем детали последней примерки. Матери тоже хочется, чтобы я ей сшила пальто, и старик просит сшить ему пальто.

Я рада, что им всем понравилась моя работа, и охотно обещаю выполнить все их заказы.

Я много работаю. Но не так-то просто уберечься от любопытных глаз.

Гость из города ведь не может слишком долго жить у небогатых людей. Закрывать дверь на крючок тоже нельзя — все привыкли, что дом Вилюмсонов, как правило, всегда открыт. К ним постоянно забегает поиграть соседский мальчик Люлик, ему лет пять. Когда он входит, я должна прятаться: он очень болтлив и имеет привычку рассказывать дома родителям и бабушке все, что он видел.

Я вскакиваю и прячусь от назойливого малыша, работа прерывается, я теряю много времени.

Старушка Вилюмсон все чаще жалуется, что им трудно живется. Я и сама понимаю, что лишний рот для них непомерное бремя. У них огород, одна корова и несколько кур. А ведь нужно еще сдавать немецким властям большие поставки.

В один из вечеров они снова обсуждают, как быть со мной. Уже давно прошли назначенные две недели, и мы ничего не можем придумать. Старушка хочет посоветоваться с младшим сыном Гейном, он живет в девяти километрах отсюда, в Кекаве. Может, сын поможет. Оливия на другой же день поехала к брату и все рассказала. Назад они вернулись вдвоем: брат Гейн хотел сам посмотреть на меня.

Моя история потрясла его, и он горячо стал просить стариков ни в коем случае меня не прогонять, обещая давать им мою долю питания.

— Это же Божья воля, чтоб она жила. Если мы ее не спасем, то вся наша семья совершит тяжкий грех, — говорит он.

Гейн (Генрих) работает в Кекаве мельником и живет вдвоем с женой Эдит, детей у них нет. Разумеется, они живут в полном достатке.

Таким образом, я остаюсь и дальше у Вилюмсонов.

Бегут дни, недели...

В марте отступает зима, тает снег, стоят теплые, погожие дни. Уже можно скрываться и в летней комнате. Я навожу там порядок, вытираю растекшиеся лужи от оттаявшего окна, чищу потолок, стены. Здесь я тихонько шью. Когда обо мне спрашивается кто-нибудь из соседей, им отвечают, что гостыя уже давно уехала в Ригу.

Для Оливии весна — самое тяжкое время. Она словно красивое, но изъеденное червоточиною яблоко: у нее туберкулез. Она часто и подолгу кашляет, слышно даже, как при дыхании скрипит ее грудь. Она очень чиста и опрятна, хоть ее душит чахоточный кашель, нередко переходящий в кровохарканье. Целыми днями она глотает порошки и пилюли. Мне больно за нее, мы с ней очень подружились. Все ее домашние заботы я беру на себя. Я до блеска мою полы, вылизываю все уголки, держу в строгом порядке все вещи и безделушки. Большая уборка приходится всегда на пятницу, канун субботнего праздника. Старушка дружелюбно напоминает, чтобы я оставила время и для себя: постирать белье, умыться, причесаться, подготовиться к вечерней молитве. Воду я таскаю по ночам, колодец довольно далеко от дома, у самого леска. Зачерпываю полные ведра и бесшумно скольжу мимо соседней усадьбы.

У Вилюмсонов есть еще старший сын Курт, женатый на латышке Рути. Они живут в Риге, Курт работает санитаром в больнице. Однажды они приехали проведать родителей. Курту по секрету от жены раскрывают мою историю. Он очень расстроился, что родители скрывают еврейку, и осуждает их:

— Мы не герои, чтобы рисковать головой из-за кого-то, — упрекает он родителей, хоть, как и все в семье, воспитан в строгом адвентистском духе. Курт уезжает недовольный, мрачный и подавленный. Но пока все остается по-прежнему.

К концу марта совсем потеплело, пришла пора обработать поле. Для соседей — я снова приехала в гости из Риги.

С самого утра мы приступаем к работе. Оливия учит меня, как нужно выбрать навоз и правильно разложить по земле ровным слоем. Затем я учусь пахать на лошади. Первая пахота далась мне в муках. Я не в силах была удержать тяжелый стальной плуг, и лошадь волокла меня по полю вместе с плугом — борозды шли вкривь и вкось. Но я не поддавалась, а обливаясь потом и стиснув зубы, из последних сил все продолжала сжимать рукоятки, пока, наконец, не овладела этим нелегким искусством пахаря — творца хлеба. Борозды постепенно пошли ровнее, лошадь стала послушной. После работы от усталости

я еле стояла на ногах, домой я поплелась чуть не ползком, но зато было приятно возвращаться с победой.

На смену пахоте приходит сев, посадка картофеля, овощей и т.д. У моих хозяев поодаль от дома, почти у леса, есть небольшой парник.

В марте там уже пышно зеленеют помидоры. Этот парник часто служит мне убежищем.

Я бегу сюда прятаться, если чужой приближается к дому. Здесь я чувствую себя почти в безопасности, работаю в парнике с большим удовольствием, мне совсем нетрудно натаскать по сорок ведер воды в день, чтоб полить саженцы.

Бывает, что Вилюмсонов навещают знакомые из соседней деревни. Для них я приятельница хозяйки по адвентистской секте.

— Но как вы так живете, такая молодая — не работаете на немцев? — спросил меня как-то один из мужиков-гостей.

— Я больна и освобождена от работы, — оправдываюсь я. Но это настораживает нас. Ясно, что долго на одном месте нельзя жить без прописки, в деревне каждый новый человек бросается в глаза.

Какое-то время я опять живу в укрытии и шью, а на ночь прячусь в стогу сена.

Летом несравненно легче скрываться — сама природа прячет меня от глаз врагов.

Вилюмсонам разрешено косить в лесу сено. Здесь на сенокосе, в лесу, я провожу большую часть лета. Я научилась косить и складывать стога. Старик Фердинанд Вилюмсон и Оливия часто приезжают сюда — они работают несколько часов до полудня и уезжают.

Я брожу по лесу, собираю грибы, ягоды, а с темнотой возвращаюсь ночевать в наши стога. Так проносится лето до самых осенних дождей. Снова возвращаюсь к Вилюмсонам на хутор. Я помогаю им убирать урожай, мы копаем картофель, свеклу и пр.

Соседям они говорят, что у них опять гостит рижская приятельница. Мы работаем всей семьей вместе, даже Курт приехал с женой помочь родителям. Он долгое время не приезжал к ним из-за меня, боясь доноса и катастрофы.

Но теперь и он убеждается, что мое присутствие не так уж страшно, как представлялось ему поначалу, а пользу я приношу в доме большую. Вдобавок я еще держусь их веры, а это для него очень важно — найденная душа. Но Курт со мной осторожен и подозрительно сдержан, обращается ко мне лишь в самых крайних случаях.

Для его Рути я — латышка, городская знакомая Вилюмсонов и подруга Оливии. Рути просит меня сшить и ей что-нибудь. Но Курт вмешивается и обрывает жену. Он против этого. Рути подчиняется каждому его слову.

Через несколько дней они уехали.

Надвигается новая зима, а с нею — новые трудности. Куда мне податься на зимние месяцы? Оливия сбилась с ног в поисках места. Все боятся. На этот раз выручают Эдит с Гейном. Они предлагают мне пожить у них в Кекаве, чтоб тайком от соседей шить для них: у Эдит много отрезков. В назначенный день за мной приехал на лошади Гейн и повез к себе в деревню на мельницу.

Они живут в двухэтажном деревянном доме. В этом же доме живут еще несколько семей немецких военных. Квартира Гейна на верхнем этаже и состоит из двух смежных комнат с одним выходом в длинный коридор. Там же общая уборная для жильцов всего этажа.

Местность здесь, в Кекаве, редкой красоты, словно с нее писали в старину идиллические гравюры в немецко-голландском стиле: река с водопадом у мельницы, кругом лес, добротные возделанные поля, богатые хуторские строения, утопающие в густой зелени, сады. Летом в этих краях, должно быть, как в сказке. Но это хорошо для того, у кого есть право на жизнь, а не для меня...

Эдит ко мне относится очень хорошо: старается, как можно лучше кормить. В доме у них все вкусно и ароматно, с особым удовольствием вдыхаю запах домашнего печеного хлеба. Мука, естественно, у них в изобилии. Эдит стряпает всевозможные блюда, часто варит аппетитные клецки на простокваше с сиропной начинкой. Неудивительно, что на таких харчах я быстро поправилась. Теперь я уже не похожа на ту старуху-бродягу, какой была раньше. Но живу еще в страхе. Перед тем как выйти в туалет, я внимательно прислушиваюсь, вглядываюсь в замочную скважину и, если убеждаюсь, что действительно никого нет поблизости, поспешно, по-воровски шмыгаю туда и с той же осторожностью возвращаюсь. Но чаще всего в разведку идет Эдит, и по ее сигналу я выхожу из комнаты, а она тем временем стоит на страже. Целыми днями, не отрываясь, я шью для Эдит наряды.

Проходит пара недель. Однажды постучали в дверь. Я мигом юркнула в шкаф и залегла неподвижно, как в гробу. Эдит заперла шкаф на ключ. Оказывается, к ней в гости приехал ее брат. Он идет добровольцем в армию и приехал попрощаться с сестрой.

— Зачем ты лезешь по собственной воле в самое пекло на верную погибель? — пытаются его отговорить Эдит с Гейном.

— Если все так будут рассуждать, как вы, так кто же будет воевать с большевиками? — стыдит их воинственный брат и требует не болтать «трусливую чушь».

Он целый день проводит дома в бесконечных разговорах о своих приключениях. А я все лежу неподвижно в шкафу, мне нестерпимо хочется в уборную, а он все сидит, ест, пьет, затем начал укладывать вещи и все говорит, говорит. Ну хоть бы вышел немного из дому!..

Я чувствую, что не выдержу больше...

Лишь поздно вечером, попрощавшись, он, наконец, уехал, глубоко убежденный в своей правоте, весьма довольный своей «высокой миссией борца за фюрера, Германию и Новую Латвию».

Подходит к концу срок моего пребывания в Кекаве у Гейна. На одном месте задерживаться долго нельзя, мы договаривались всего на один месяц. За мной приезжает Оливия и сообщает, что и Грета согласилась, чтобы я пожила у них в Риге.

Короткие сборы, и мы — по пути в город. Саша и Грета Клебайс живут вместе со своим старым отцом в трехкомнатной коммунальной квартире на четвертом этаже, кухня общая, на несколько жильцов, уборная на лестничной клетке, полуэтажом ниже. Отец, несмотря на престарелый возраст, чувствует себя вполне современным человеком: любит шнапс¹ и хорошую еду. Большею частью он бывает навеселе и, понятно, не должен знать обо мне ничего лишнего. Меня представляют ему латышкой Анной, в доме я говорю только по-латышски.

Грета работает в военном госпитале медицинской сестрой, Саша служит кухаркой в туберкулезной больнице. По утрам они отправляют отца на работу, а затем сами уходят, запирая на ключ дверь. Я остаюсь одна в большой квартире, сижу и шью для моих новых друзей-покровителей. Не все соседи уходят, приходится соблюдать осторожность. Самое опасное, как и раньше на мельнице, связано с выходом в туалет.

Я могу выйти лишь тогда, когда одновременно безлюдно на всех трех верхних этажах лестницы, чтоб не заметили ни наши соседи, ни живущие ниже. Иногда часами доводится караулить, чтоб дожидаться этого момента. Но и с приходом моих хозяев я тоже всегда начеку, готовая в любой миг скрыться от посторонних глаз.

1 Нем. *Schnaps* — водка.

Раз к моим друзьям пришла в гости их тетушка. Я медленно, как только стукнули дверь, спряталась под кровать и стала прислушиваться к их разговору. Тетушка в трауре: она опечалена худыми вестями с фронта.

— Вы слышали, как плохо нашим под Сталинградом, какие там были кровопролитные бои? — с тяжелым вздохом выкладывает она свои горькие новости. — Наши несут большие потери, один Бог знает, чем все это кончится.

— Да, да, я тоже слышала, — подтверждает Грета.

— Я сама их видела в госпитале, обмороженных солдат, привезенных прямо с фронта, у всех гангрены, буквально заживо гниют, просто жутко смотреть на них.

Поговорив еще немного на эту же тему, они смолкают. Кто-то из них включает радиоприемник. Льетса траурная музыка, медленный похоронный марш. Все притихли, словно в доме покойник. Мне же под эту мелодию хочется ликовать, плясать, кувыркаться от радости. Какое счастье! Не сон ли это?

Наконец-то пришел этот день! Теперь уже близко.

О, если бы они знали, что творится в моей душе, как во мне все поет от этих новостей и траурных маршей! Но тут расходятся наши пути. Они до мозга костей немцы, и поражение немцев — их беда, а я этого только и жду. Женщины начинают страстный молебен. Всемогущему Господу воздаются хвала и благословение. Они взывают к небу громкими мольбами к «Его Великой Справедливости за братьев-страдальцев», т.е. за своих немцев-солдат, немцев-фашистов.

У Клебайсов на Артиллерийской я проработала шесть недель, затем Оливия перевела меня еще на один зимний месяц к родителям Эдит, живущим здесь же в Риге, за Двиной. Оливия упросила их сделать это, пообещав, что я им всем сошью первоклассные наряды, расхвалив меня как отличную модельершу.

Она им, конечно, рассказала обо мне все, чтобы они знали, на что идут.

Родители Эдит жили в небольшом собственном деревянном домике, в двух комнатах с кухней. Уборная на этот раз, к счастью, оказалась в самом доме.

На другой стороне дома, в одной комнате с отдельным входом, живет сестра Эдит, молодая фрейлейн, уже заимевшая ребенка от какого-то немецкого военного. Она где-то работает и постоянно мучается с беспокойным младенцем, часто оставляя его у своей матери. Здесь же вместе с родителями Эдит живет их отец, древний седовласый старичок, — это дедушка Эдит.

Весь месяц с первого же дня я перешиваю для всей семьи пальто, платья, костюмы из вещей, оставленных им евреями. Но даже привыкнув к этой работе, я каждый раз вздрагиваю, берясь за новую вещь: кто был ее хозяином? Тут и детские вещи, и мужские, и нарядные женские платья.

Мать Эдит относится ко мне хорошо, моей работой она довольна, частенько подсаживается ко мне и беседует о жизни.

— Хорошо, что наш сын ушел в армию, — сказала она мне как-то раз. — Он такой, что при нем ты не смогла бы у нас жить. Ты бы только видела его противных дружков — как они пьянствуют и ругаются...

Дети одной матери: сын — фашист, а дочь скрывает еврейку.

— Такова уж старая, как мир, правда, — говорю я ей в ответ. — Враги и друзья, благородные люди и нелюди-звери часто вырастают из одного чрева, вскармливаются молоком одной и той же матери...

— Да, да, ты права, — тяжело вздыхает она. Ей стыдно за сына.

Работа подошла к концу. Все их запасы исчерпаны. Больше мне делать у них нечего — надо возвращаться назад к Вилюмсонам в Катлакалнс.

На этот раз я пришла к ним сама и пешком, но они уже ждали меня со дня на день. Сначала я прячусь от соседей в доме, но затем появляюсь за работой на дворе, якобы снова наведальась в гости.

И так я дотянула до весны. Постепенно убеждаюсь, что к страху, как и ко всему, можно привыкнуть. Временами мне даже кажется, что Вилюмсоны совершенно успокоились и забыли об опасности.

Но вот однажды приехал Курт с плохим известием: в городе ходят слухи, будто семья Вилюмсон скрывает еврейку. Всех их охватил страх. Они смотрят на меня с тревогой и укоризной, будто говорят: «В твоих руках наша жизнь, пощади нас, уходи». Я успокаиваю моих добрых друзей, даю им слово сегодня же оставить их и начинаю собирать свои вещи, готовить корзинку с едой.

Между тем слышу: Оливия перешептывается с отцом, у них секрет от Курта и матери, им все же жаль, что я ухожу.

— Нельзя терять такого человека, — слышу я шепот Оливии. — Что ни говори, а она ведь — святая, найденная душа. Это же Божье чудо.

— Но что мы можем сделать, а если придут вдруг и найдут... Выбора нет, нужно уходить.

Мы вместе помолились на счастье. Настало расставание. Они очень расстроены, но такова уж судьба.

— Куда же ты пойдешь? — спрашивает меня с сочувствием старушка.

— Буду бродить в окрестных лесах или еще где-нибудь поблизости, — делюсь я с нею своими несуществующими планами и туманными намерениями.

Я и сама не знаю, куда бы лучше направиться.

Покружив по лесу, я с наступлением темноты возвращаюсь к ним во двор и прячусь в сене.

Через час слышу: ко мне кто-то взбирается. Гляжу — карабкается Оливия. Внизу стоит отец.

— Слезай, — говорят они мне, — возвращайся назад в дом.

Я не понимаю, в чем дело, но не спрашиваю ни о чем и следую за ними. Выясняется, что после моего ухода, терзаясь угрызениями совести, отец с Оливией принялись внимательно читать Библию, ища в ней ответ на мучавший обоих вопрос — справедливо ли они поступили? Они находят подходящий псалом с толкованием и приходят к убеждению, что это Господь Бог просто хотел испытать их, проверить, насколько они преданы ему, насколько сильна их вера. Поэтому Он, Великий, послал к ним свою избранницу Анну (т. е. меня), чтоб испытать их страхом.

— Господь всемогущ, — гласит Святое Писание, — и по его повелению враги бессильны, лишаются слуха и зрения, — они могут не видеть и не слышать, что происходит даже у них на виду, так что и тебя они могут тоже не заметить.

Вилюмсоны, преданные адвентисты, с трепетом произносят любую строку святой Библии и во всем полагаются на милость Всевышнего. Если Бог не захочет, ничего дурного не случится, заключают они и успокаиваются.

Таким образом, я остаюсь. Конечно, я стала еще более осторожной и большей частью скрываюсь в лесу. Летом в лесу несравненно лучше, чем дома. Целыми днями я собираю ягоды, грибы, а ночью в сене. Лишь изредка захожу к Вилюмсонам на хутор.

В часы молитв, преклонив колени, мы распеваем благодарственные гимны и псалмы. Я пою, но во мне все рыдает.

— Боже мой, как долго я еще буду пребывать в чужой вере, — гложут меня тяжкие мысли, — когда же, наконец, кончатся муки и наступит освобождение?!

Я все думаю о своих близких — о матери, сестрах. Может, все-таки кто-нибудь из них спасся. Я понимаю, что это малове-

роятно. Но я ведь живу, и будь они живы, они бы тоже считали меня погибшей. Мне очень хочется жить.

Мне бы только дожить, чтоб рассказать, какие злодеяния совершились над нашим народом, тогда мне не страшно было бы и умереть. Я бы знала, что наша кровь пролилась не напрасно и будет отомщена.

Время молитв — это минуты моих самых тяжелых раздумий. В сердце глубоко запали слова Оливии:

— На твоём месте, Анна, я бы охотнее дала себя застрелить или зарезать, чем так скитаться и мучаться. Да и что такое жизнь? Для чего она нам? Я тебе прямо скажу: я ею совсем не дорожу, как недорогим подарком. Это просто временная обитель, накануне другой, настоящей жизни. Главное для человека и есть та жизнь, она длится вечно, и к ней нужно готовиться...

Эти идеи греховности мира, бренности бытия и вечного блаженства в раю Оливии внушили церковные наставники их общины. А я же еще с детства впитала любовь к жизни и отвращение к самоубийцам.

Я пытаюсь ее переубедить, объясняю, что искать свое счастье нужно здесь, на этой земле, а не там, на небе, там пусто и холодно... Но она из-за этого на меня только сердится, обрывает спор и утверждает, что «грешить можно не только дурными делами, но и неблагочестивыми мыслями».

*

Однажды в середине лета — в тот день я отдыхала в доме у Вилюмсонов после долгого пребывания в лесу — с соседнего хутора к Оливии пришла в гости знакомая девушка Эмилия. Поговорив с ней немного, Оливия вытащила из шкафа свои наряды, сшитые мною, и, разложив перед гостьей, стала расхваливать меня. Я сидела рядом и наблюдала за ними. Эмилия с завистью перебирала пальцами аккуратно собранные складки и ажурно отделанные воротнички и рукава.

— Хочешь, Анна и тебе сошьет такие же платья, она как раз теперь освободилась и могла бы поработать, у вас же есть в доме машина, — предложила Оливия.

— Конечно, конечно, мама будет очень довольна, — охотно согласилась Эмилия, не переставая любоваться разложенной одеждой. — Мама в самом деле не знает, что делать со своими отрезами, годами лежат у нас без толку в шкафу.

Эмилия получила согласие матери, и когда через несколько дней она к нам снова пришла, мы с ней обо всем договорились. Я перебралась на соседний хутор.

Эмилия живет с матерью и братом. Они знают от Вилюмсонов, что я — латышка, подруга Оливии по Риге, но из-за слабого здоровья имею освобождение от обязательных работ. Однако я их предупреждаю, что мне лучше все же на глаза властям не показываться, и они обещают беречь меня от чужих. У них два дома: один старый — уже довольно ветхая изба и недавно выстроенный новый, но не совсем еще законченный — без пола и отделки. Я убеждаю хозяев, что мне лучше работать и ночевать в новом недостроенном. Они не возражают.

Хоть там вместо пола пока еще земля, одни лишь грубые стены и крыша со стропилами, но зато здесь валяются вдоволь доски, фанера и масса другого строительного хлама, которым можно в нужный момент хорошо замаскироваться.

Я сразу приступила к делу: выбрала фасоны, сняла мерки и раскроила материал. Теперь я сижу себе в постройке, наполненной запахом смолы от свежесложенных бревенчатых сосновых стен, и, как заведенный мотор, шью с утра до вечера.

Хозяева ко мне добры, приносят трижды в день еду, справляются, не надо ли чего-нибудь еще. Так бегут дни. У Эмилии брат — холостяк, это рослый детина лет за 40. Неожиданно он зачастил ко мне с разговорами, комплиментами и ухаживаниями. Наконец, вовсе стал свататься.

— Ну, какая я тебе пара, — разубеждаю я его. — У вас такой богатый хутор, с двумя домами, так много земли, скота и птицы, тебе ведь нужна очень здоровая, работающая жена, чтоб исправно вести хозяйство. Я же совершенно тебе не подхожу. Неужели ты сам не видишь, какая я хворая? — всеми силами отговариваю его.

Он нехотя в конце концов со мною соглашается:

— Да, ты права, уж лучше нам быть просто друзьями, — заключает он наши неоднократные тяжелые и неловкие объяснения.

Однообразно течет время.

Однажды к ним на хутор неожиданно подкатили немцы и заявили, что они должны все обыскать. В первый миг я в страхе подумала, что это за мной по чьему-то доносу. Я тут же прибрала шитье и спряталась за досками. Немцы начали со старого дома. Вскоре слышу: Эмилия открывает дверь в новом доме и обращается к немцам с наигранным хладнокровием:

— Ну, заходите, ищите, убедитесь сами, что у нас никого нет!

Один эсэсовец вошел, огляделся, но искать не стал и тут же удалился. Счастливого отделались.

Позже, когда они убралась, ко мне зашла Эмилия и сказала, что немцы просто помешались на дезертирах. Они ищут на каждом хуторе, подозревают чуть ли не самих своих эсэсовцев.

После этого обыска я проработала у них еще несколько дней и вернулась к Вилюмсонам. Эмилия дала мне за работу несколько килограммов масла, кое-что из других продуктов и немного денег.

Продукты и деньги я отдала матери Вилюмсон и в тот же день, не задерживаясь, перебралась в лес косить и убирать на их участке сено.

Вечером, наработавшись, я залегла в копну. Дремлю, отдыхаю. Вдруг слышу: кто-то бежит. Я приподнялась, осторожно высунулась. Вижу: молодой парень быстро, во весь дух мчится по поляне и прячется в соседнем стогу. Ясно — это дезертир. Теперь и я понимаю, на кого эсэсовцы делают облавы. Меня охватывает радостное волнение: немцы бесятся не от хорошей жизни.

Латыши не верят больше в их победу и трескотню их пропаганды, как в первый год войны, и потому всячески избегают «высокой чести» быть мобилизованными в «великую армию», многие предпочитают теперь отсиживаться в лесу, по подвалам, бункерам — они уже становятся похожими на крыс, бегущих с тонущего корабля. Значит, мне уже недолго ждать!

Глубокой ночью слышу негромкий женский голос:

— Ау, ау, ау!

Так окликают заблудившихся в лесу. Я снова насторожилась. Всмотриваюсь. Вижу: две фигуры сходятся, одна передает другой пакет — это, наверное, кто-то из родных принес еду дезертиру.

Так продолжается несколько раз. Потом парень исчез: видно, перебрался на другое место или спрятался где-то на хуторе.

*

К концу недели я обычно возвращаюсь домой с лесного сенокоса. Но во все субботние дни Вилюмсоны соблюдают пост. Они постятся ради многого и даже взаимоисключающего: и в память павших немецких солдат, и за страдающих от фашистских зверств, и просто, дабы не навлечь какой-нибудь беды или несчастья.

Я понимаю, что не имею права ничем выделяться, я должна быть, как все они.

По субботам жизнь в их хозяйстве почти замирает: соблюдается святой покой и отдых. Но корова ведь — живое существо: ее нужно накормить, подоить, вывести в поле — все это лежит, понятно, на мне. А здесь я бессовестно грешу — напиваюсь украдкой молока или лакоплюсь найденным яйцом. У них несколько кур, и несучки иногда теряют яйца тут же в хлеву.

Однако потом я волнуюсь, не заподозрили ли Вилюмсоны меня в неблагочестии.

«Собственно, во имя чего мне соблюдать пост? — рассуждаю я сама с собою. — Ради благополучия немцев на фронте или во имя чужой веры? Нет, я не настолько глупа, чтобы поститься каждую субботу, работая всю неделю, как вол. Вилюмсоны, конечно, не должны об этом знать», — успокаиваю себя.

Но насытившись, я чувствую угрызения совести. Я чувствую себя перед ними виноватой, словно воришка. Возможно, они догадываются, но молчат, оставляя меня наедине с моей неспокойной совестью.

Как-то раз Оливия показала мне место в Священном Писании, где сказано, что чужак в общине может жить сам по себе и не соблюдать общепринятых для всей секты запретов, таких как пост, покой и другие. Мне стало неловко: собственно говоря, зачем она напоминает мне об этом? Может, сытость видна по лицу или она что-то заподозрила после того, как старушка-мать обнаружила однажды в кармане моего пальто кусок засохшего хлеба?

Обычно у меня в кармане для субботнего дня водился кой-какой хлебец, сухарь или другие непортящиеся продукты. Случайно мое пальто осталось висеть у сенного стога на дворе, а старушка Вилюмсон как раз направилась за сеном для коровы и прощупала мои запасы. Смеясь, она зашла в дом, рассказывая домочадцам о своем открытии. Мне было очень стыдно, но я не растерялась и тут же оправдалась:

— Мало ли что может случиться, а вдруг облава — и я не смогу зайти в дом, чтобы что-нибудь взять в дорогу?

Ответ им понравился, и они одобрили мою бдительность и готовность к неожиданностям.

Оливия каким-то внутренним чутьем, вопреки ее фанатизму, проникала в лабиринт моих чувств и настроений, понимала всю мою затаенную страсть быть со своими близкими, своими единоверцами и поэтому старалась освободить меня от бремени преданности строгим адвентистским канонам. Она отпускала все мои грехи. Уставившись прямо в мои глаза, она, казалось, читает мои мысли. Мне становилось не по себе, я чувствовала себя виноватой, как грешница перед праведником.

*

В разгар лета, в июле—августе, наступает пора ягод, после которой идут грибы, — это мое самое лучшее время. Мы с Оливией забредаем в дальние боры и чащи и возвращаемся с тяжелыми

корзинами, наполненными лесными дарами. Хватает всем: и на продажу, и на гостинцы.

Мы делаем приятные сюрпризы мадам Шейнк, Саше и Грете, также Песла получает от меня подарки, но моего адреса ей, конечно, не говорят — она может разболтать своим бабам-кумушкам.

Сама я не рискую далеко углубляться в лес, обычно собираю в лесу вблизи дома и всячески избегаю соседей, подолгу отлеживаюсь в сене.

Раз Оливия предложила мне пойти с ней очень далеко, за много километров, куда мы ни разу еще не забирались: говорили, там ягод видимо-невидимо.

— Я эту дорогу не знаю, — говорит она, — зато с нами пойдет Марта, она эти места знает хорошо.

Марта — из соседней деревни, она тоже адвентистка, несколько раз я ее видела у Вилюмсонов на богослужении. Марта, естественно, считает меня своей, раз мы одной секты.

Мы долго шли, забрались очень далеко. Затем мы разбрелись и принялись собирать ягоды с нетронутых лесных полян и склонов. Неожиданно я нахожу воткнутую в землю старую лопатку, без рукоятки, на вид это была походная солдатская лопатка. Я подзываю Оливию и показываю находку: что бы это могло значить?

— Спрячь эту лопатку, — говорит мне Оливия, рассматривая ржавое железо. — Она тебе еще когда-нибудь пригодится.

— Что за глупости она говорит, — думаю я про себя. — К чему мне эта лопатка?

— Спрячь, тебе ведь это ничего не стоит, — настаивает она.

— Ладно, возьму с собой, может, и пригодится, — соглашаюсь с ней.

Через год эта лопатка спасла мне жизнь. Но об этом позже, пусть будет все по порядку...

*

Домой мы шагаем нагруженные тяжелыми корзинами ароматной земляники, черники, малины. Мы приближаемся к дому. На шоссе недалеко от хутора немцы установили прожекторы.

— Это чтобы ночью освещать небо, если красные будут летать, — поясняет Оливия.

— Странно, почему именно здесь они их поставили? — спрашиваю я будто невзначай, только из любопытства. — Поблизости ведь нет никаких немецких воинских частей и никаких военных объектов?

— Это неважно, что здесь нет военных объектов, — отвечает она понимающе, — зато отсюда, издалека, за 25 километров, тоже можно защищать Ригу и даже еще лучше. Это они делают, чтоб укрепить рижские позиции.

Для меня это очень радостная весть: немцам нужно защищать Ригу. Но, разумеется, это моя глубокая тайна.

В один из вечеров, сразу после псалмопений, я собралась лечь в своем стогу, как небо неожиданно ярко засветилось огнями многочисленных ослепляющих ламп, высоко подвешенных над землей. Вокруг стало светло, как в ясный солнечный день.

Что здесь происходит? Я не могу понять, объяснить себе, что бы это все могло означать. А может, уже идут красные?

Сердце напряженно стучит и замирает. Я смотрю на необыкновенно загадочную ночную иллюминацию, еле сдерживаю свою радость в ожидании чуда. Но вот послышался в небе гул авиационных моторов, и один за другим цепочкой появились советские бомбардировщики. С них стали сыпаться на лес и на поля бомбы, а одна совсем близко от дома Юркевичей, наших соседей. На другой день мы побежали смотреть осколки и развороченные воронки. Но было досадно, что советские летчики не нашли более подходящего места для бомбежки, чем поля и овраги вблизи хуторов. Но, вероятно, пилотов дезориентировали огни: они принимали это за укрепления.

Во время ночной бомбежки вся деревня сильно перепугалась: одни лежали неподвижно, распластавшись на земле поодаль от дома, другие плакали, ожидая с минуты на минуту прямого попадания, взрыва и страшной смерти.

Я же, напротив, была радостно взвинченной, предвкушая счастливый миг прихода красных, чтобы выпалить все первому встречному красноармейцу. Но, отбомбившись, самолеты улетели и снова стало спокойно; тишина не нарушалась, как и прежде. Прожекторы, однако, остались на месте и уже с вечера начинали сверлить небо своими длинными жгутами лучей в поисках самолетов.

Но проходит день за днем, и нет никаких признаков войны и боев.

К нам приезжают Эдит с Гейном проведать родных, они прослышали про бомбежку вблизи наших мест и заволновались. Погостив день, они собираются домой и приглашают также меня поехать с ними в Кекаву, снова пожить у них, поработать.

Эдит получила от своей матери несколько пакетов различной одежды знакомых евреев. Эти люди, конечно, уже убиты, и мне предстоит приспособить их платья и костюмы для Эдит и Гейна, как это я сделала для ее матери в Риге. Работа нетруд-

ная, но гнетущая: возможно, эти одежды носили мои знакомые и друзья — рижане. Я заставляю себя не думать об этом, но мысли назойливо всплывают каждый раз, когда я берусь за новую вещь.

У них в доме я одновременно как бы и в тюрьме, и в санатории. Я не выхожу на улицу, только шью и ем.

Эдит кормит меня, как и прежде, самым лучшим, не знает, какие бы придумать новые блюда. Я снова поправляюсь, набираю силы, толстею. Но теперь меня уже не покидает приподнятое настроение близости развязки, разгрома немцев.

А Гейн с Эдит счастливы по другому поводу — у них должен появиться ребенок, они уже шесть лет женаты и все эти годы с нетерпением ждали ребенка. Эдит просит меня так ей шить, чтобы платья были хороши и в первые месяцы беременности, и подошли бы без больших переделок накануне родов. Я в точности выполняю ее заказы, и она вполне довольна моей работой. Так проходит еще один месяц. Однажды, в свободный субботний день, Гейн решает отвезти меня на велосипеде к родителям.

Адвентистам ехать, да и вообще трудиться по субботам, запрещено, это допустимо лишь в крайнем случае, если вызвано большой необходимостью, опасностью для жизни. Значит, если он поехал в субботу, мне действительно здесь больше оставаться нельзя, я это понимаю и ни о чем не спрашиваю.

Он усаживает меня спереди на раме, и мы уезжаем у всех на виду среди бела дня.

— Так безопаснее, — поясняет мне Гейн.

Я, конечно, в простом деревенском платье, на голове белый платочек. Два километра мы едем по главному шоссе, затем сворачиваем и километров семь колесим в обход по проселочной дороге. Гейн объясняет, что поехал так, чтобы не столкнуться с охраной у прожекторов, проверяющей документы у всех без исключения прохожих.

Но вот Гейн неожиданно рванул вперед что было силы. Я сначала даже не поняла, чем это вызвано, лишь потом я заметила большое скопление немцев.

— Гляди, в деревне облава, всюду оцеплено, полицейские обыскивают дома, — шепнул мне Гейн. — Сиди смирно, назад нельзя, поедem как можно быстрее.

Меня лихорадит от страха, Гейн тоже побледнел. Мы несемся вперед, не глядя по сторонам, чтоб не создать впечатления озабоченности и волнения. Полицейские нас не останавливают, видимо, принимают за безобидных поселян, раз мы, не испугавшись, въезжаем в деревню навстречу облаве. Мы вырываемся из кольца жандармов и мчимся на хутор к Вилюмсонам. Приехав домой, потрясенные пережитым, мы все вместе свершаем долгий благодарственный молебен.

— Это все — Божье чудо. Он все видит и бережет нас, — утверждают Вилломсоны. И их вера в Бога все крепчает. Это для них верный признак существования Бога.

Гейн уезжает в тот же день. Я опять у Вилломсонов. Снова скрываюсь в лесу, но временами появляюсь, поработаю на огороде, побуду немного дома и опять — с глаз долой. Приближается новая осень. Кровавая война длится уже третий год, и нет ей конца.

Опять встает неумолимая забота, куда пристроиться на зиму.

Моя надежная опора и защитница — Оливия. Она уезжает на велосипеде в Ригу поговорить с Клебайсами, не откажутся ли они вновь меня приютить. Саша с Гретой согласны, и в ближайший день, сердечно распрощавшись с Вилломсонами, я ухожу в город. Девушки меня приняли хорошо, я уже для них своя, совсем как родственница. В квартире мне все знакомо, и я сразу включаюсь в работу — занимаюсь, как обычно, шитьем и домашними делами.

В той же квартире Клебайсов в отдельной комнате живут две пожилые соседки по фамилии Эйхенберг. Они тоже адвентистки и дружелюбно к нам относятся. Так же как и своему отцу, Саша и Грета представили меня соседкам как свою подружку-латышку, их единомерку из деревни.

Старушкам я понравилась, и они начали меня уговаривать посещать вместе с ними их церковь в городе, но Саша с Гретой меня выручили, объяснив соседкам, что это невозможно, потому что мы вместе с Вилломсонами держимся обрядов, несколько отличающихся от обрядов их адвентистской секты.

Они не стали настаивать, хоть малость огорчились. Нет, так нет. Соседи в квартире корректны друг с другом, даже дружны. Так проходит некоторое время. Я ни на шаг не отлучаюсь из дома и исправно веду хозяйство.

Старик Клебайс, присмотревшись ко мне и убедившись в моем домоседстве, решил, что я вполне подхожу ему в жены. Он прихорашивается, молодится, пытается ухаживать и изо дня в день склоняет меня к замужеству. Я же пропускаю его комплименты мимо ушей, избегаю говорить с ним на эту тему, благо — он обычно под хмельком. Отвечаю ему, что не имею права вступать в брак из-за плохого здоровья. Естественно, остальные все это замечают.

— Знаешь, что мой отец влюблен в тебя? — говорит мне Саша с лукавой усмешкой. — Вот будет здорово, если ты выйдешь за него замуж! — Будешь моей мамашей! Ха-ха!

— Ну что ты, я же ему в дочери гожусь! — разговоры эти мне неприятны, но они заводились по этому поводу почти ежедневно. Так я пробыла у них снова шесть недель. Это немало — пора уходить.

СНОВА У ФРАУ ШЕЙНК

Добрая Оливия не переставая думала обо мне и решила испробовать на этот раз счастье у Шейнк. Она рассказала ей о своих отличных нарядах, что я перешила ей буквально из барахла, о шикарных обновках Эдит и ее матери, и этим самым разозгла аппетиты мадам Шейнк. У той шкафы буквально забиты отрезами и платьями, что остались после евреев, она бы их тоже охотно перешила.

Мадам Шейнк просила ее непременно привести меня к ней и как можно скорее. Конечно, держать меня — большой риск. Но зато какая польза! Господину Шейнку тоже будет боязно, но чего не сделаешь ради прихоти жены!

В назначенный день я прихожу к фрау Шейнк.

Муж и жена рады и дружелюбны. Фрау Шейнк заводит меня на кухню и повторяет старое условие:

— Если только ты понравишься моему мужу, то сможешь надолго у нас остаться и никто о тебе не узнает. Для начала она велит мне постирать большую кучу белья. Я берусь за дело: белье я не тру, а намоченные в ванне вещи кладу прямо в таз и кипячу — получается быстрее и легче.

— Так меня учил денщик одного офицера, у которого я служила, — говорю я ей в ответ на ее недоумение. — С тех пор я стираю только по его методу, не волнуйтесь, будет очень чисто, — объясняю я мадам Шейнк школу своего мастерства.

Она с удивлением смотрит на мою работу и оставляет меня одну, но вскоре она возвращается и, словно прозревшая, объясняет:

— Нет, мне не стоит держать тебя на стирке белья, это я и сама смогу. Иди лучше сшей моему мужу костюм, у меня есть хороший материал — альпака. Пойди посмотри.

— Но я не знаю, смогу ли я это сделать, я ведь никогда не шила мужскую одежду, — отвечаю я ей с сомнением. — А вдруг еще испорчу ценный отрез.

— Ничего, я знаю, ты сможешь сшить и мужской костюм и вообще сошьешь что угодно, на то ты и портниха, — говорит мадам Шейнк по-барски, видимо, считая, что для меня это суший пустяк.

Делать нечего, мне спорить нельзя. Я берусь за работу. Костюм господина Шейнка рождается у меня буквально в муках. Я работаю по 14—16 часов в сутки, приходится фактически постигать новое ремесло. Как правило, переделываю по несколько раз каждый шов, потому что шью очень осторожно, чтобы при очередном промахе не загубить всю работу. Шью долго — недели две-три. Наконец, наступает время примерок.

Я прошу фрау Шейнк присутствовать на примерках и быть моим консультантом, помогать мне, чтобы нам сообща кончить костюм, а главное, чтоб она, Бог знает, чего не подумала, оставляя меня наедине со своим мужем. Она очень ревнива.

В конце концов, мой долгий изнурительный труд все же увенчался успехом — Шейнки остались довольны костюмом, они даже договорились сделать его праздничным.

Вслед за этим, почти без передышки, я начала обшивать хозяйку. Я сшила ей какой-то наряд, и она была в таком восторге, что, не сдержав радость, сразу же понеслась к своим немцам-соседям показать, как элегантно она выглядит в своей последней обновке.

Офицеры-эсэсовцы тоже пожелали сделать своим женам сюрпризы и приставали к фрау Шейнк с просьбой указать им ее портниху.

Я так и не добилась от нее, как она все-таки выкрутилась и что им сказала, но, как я поняла, она все же обещала им представить свою мастерицу, чтобы и они могли заказать такие же платья. Быть может, именно из-за этого господин Шейнк на другой день заговорил со мною, что было бы хорошо для нас всех, если бы я смогла получить какие-нибудь документы. Он готов даже мне в этом помочь.

Я слушала его внимательно, но думала, что это только слова, не более.

Чтобы получить хоть какие-нибудь, даже «липовые» бумаги, нужно было иметь очень высокие связи и знакомства или, по крайней мере, дать крупную взятку, а это большой риск. Но господин Шейнк не таков и никогда на это не решится.

Со своей стороны, мадам Шейнк предложила мне в целях безопасности покраситься в блондинку и достала сильный

краситель. По окончании сложных процедур в строгом соответствии с рецептом, я глянула в зеркало и испугалась: неестественно светлые волосы, черные глаза и смуглое лицо в любом немце вызвали бы подозрение. Но моя хозяйка тем не менее осталась вполне довольна моим нелепым видом, по ее мнению весьма «арийским».

Она разглядела в этом даже потомственную родовитость и спросила как-то совершенно серьезно:

— Скажи мне, пожалуйста, а откуда ты родом, кто были твои предки? По твоим чертам я, например, вижу, что ты из очень аристократической семьи.

— Ну что вы, мои родители и деды были самыми обыкновенными людьми, — шутя ответила я ей. Мадам Шейнк, однако, осталась при своем мнении. Чистота расы и знатность были ее манией.

Но с этого же времени она начала ревновать меня к своему мужу.

Она сама мне призналась, что оставляет на двери приметы (бумажку на защелке), чтобы знать, не выхожу ли я по ночам на улицу к ее мужу на свидание в то время, когда она спит.

Мне стало просто страшно, ведь по ночам я как раз выхожу прогуляться возле дома, подышать за сутки свежим воздухом. Она слышит, как я выхожу и возвращаюсь, но все равно подозревает и мучает меня своими пошлыми вопросами и дознаниями о каких-то «намерениях и замыслах». Я уже была готова бежать от нее, но они все не отпускали меня. Но тем временем нагрянули такие события, что Шейнкам волей-неволей пришлось меня выпроводить.

Однажды в квартиру явились с неожиданным контролем — должно быть, эсэсовцам на втором этаже стали подозрительны наряды Шейнк и ее запутанные истории с портнихой. Не исключено, что они и меня каким-то образом засекли.

В момент, когда постучали в дверь, я сидела за столом и ела кашу. Я молниеносно метнулась в диком броске прочь из кухни и нырнула под перину в спальне, стараясь не нарушить нарядного убранства постели. Я замерла, затаив дыхание, и стала прислушиваться к доносящемуся разговору. Немецкий военный любезно разговаривал с фрау Шейнк. Приоткрылась дверь и в спальне. Продолжался беглый осмотр квартиры. Немец говорил что-то о трудностях с размещением офицеров, о необходимости жертвовать своим комфортом ради победы и т. д.

Но в тот самый момент, когда они стояли совсем близко возле кровати, меня от страха поразил сердечный шок и схватили мучительные боли в желудке — я давилась кашей. Счастье, что хозяйка меня выручила. Не задерживаясь, она повела его в другие комнаты...

Позднее господин Шейнк выяснил, что этому визиту эсэсовского офицера он был обязан болтливости своей хвастливой жены. Но обыск был поверхностный, под предлогом необходимости временного поселения в их квартире офицера. Хорошо еще, что сам Шейнк был у соседей на хорошем счету, это выручило, иначе они бы не так поискали...

Мне хотелось уйти от них в тот же день, но фрау Шейнк настояла, чтобы я закончила перед этим все начатые платья и в заключение еще решила произвести генеральную уборку в квартире.

Два дня подряд я скребла и чистила стены, карабкалась по лестнице, чтобы добраться к закоптелому потолку, давно не видавшему капли воды. Квартира была запущена, особенно кухня, дом давно не ремонтировался.

Мадам Шейнк все сетовала и вздыхала:

— Кто теперь будет мне убирать квартиру, шить, стирать, просто беда...

Я вылизала содой с мылом все потолки и стены, помыла полы. Квартира блестела чистотой и светилась уютом. Но зато сама я была не лучше трубочиста: вся слежавшаяся годами пыль и грязь стекала мне на голову, в лицо и на одежду. Я трудилась из последних сил, как загнанная лошадь, чтобы выполнить многочисленные придирчивые указания моей ненасытной госпожи — ведь это же в последний раз, а главное — даром.

Господин Шейнк тоже был доволен: дармовая прислуга приводила его в хорошее расположение духа. Еще оставался мой долг — платья, и я продолжала трудиться. Успокоившись, Шейнки начинают меня уговаривать остаться.

— Теперь уже, — говорят они, — не страшно, проверять больше не станут.

Так тянется день за днем, мне ведь тоже уходить не к кому, кроме как к Вилюмсонам в деревню, а что там?

Моя госпожа, в свою очередь, все продолжает проверять мою добropорядочность и честность.

Раз поутру я приводила в порядок их спальню. Под кроватью и столиком лежали небрежно разбросанные конфеты. Я их собрала и сложила аккуратно на столе. Позднее я догадалась, что это тоже была проверка моей честности, как и ряд других уловок моей подозрительной хозяйки.

Как правило, они держали меня впроголодь. Кусок хлеба, несколько картофелин, каша значили для меня несравненно больше, чем лакомство, какая-то горсть конфет.

Обычно, когда я готовила что-то их курам, месила с мукой картофель, отваренный в шелухе, то с удовольствием наспех проглатывала одну-другую горячую картофелину.

Но вот однажды я едва не попала к господину Шейнку. Я что-то делала на кухне и аппетитно жевала ломтик сушеного хлеба, как вдруг зашел зачем-то хозяин. Я успела незаметно скользнуть в угол и завозилась со щеткой у мусорного ведра.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Ничего особенного, собираюсь мыть пол.

А тем временем спрятала сухарь в мешок. Мне стало так стыдно, зарделось лицо, запылали щеки. Я дала себе впредь слово: лучше голодать до изнурения, но никогда более не посягать на их крохи, даже на объедки.

Так идет моя служба у Шейнков. Проходит день за днем. Внутренние боли со дня обыска все усиливаются, я чувствую, что во мне что-то надорвалось. Наконец, стало так нестерпимо, что я слегла, не могу прикоснуться к пище. Лежу с грелками и со страхом думаю, что вот здесь, у Шейнков, я и скончаюсь. Вдобавок на спине прорвал огромный нарыв и потоками хлынул гной.

Мадам Шейнк говорит, что она когда-то работала медсестрой в больнице, но ко мне она боится прикоснуться, чтобы не заразиться. От вида гноя ее тошнит и даже рвет, а в медицине, как я убеждаюсь, она понимает не больше моего.

Помощи мне ждать неоткуда, полагаться я должна только на себя. А фрау Шейнк вдобавок на меня злится, почему я встаю и стираю свои единственные гнойные бинты и тряпки — она до смерти боится инфекции. Я отчаянно борюсь за жизнь на грани смерти, обессиленная, без врачей и лекарств. Но я, видно, родилась под счастливой звездой — вопреки всему я начала поправляться.

— Мне так было страшно за тебя, — с облегчением призналась мне мадам Шейнк после кризиса. — Если бы твой фурункул не вскрылся, то гной пошел бы внутрь, и ты непременно умерла бы. А что было бы с нами? Как бы мы могли тебя похоронить? Ты об этом подумала? Но, слава Богу, что ты выздоровела. Слава Богу! Господь милосерден!

И она пошла молиться.

Оправившись, я снова приступила к своему нелегкому труду служанки. Шейнки каждый день находят мне все новые и новые бесконечные домашние дела и поручения. Так продолжается всю зиму.

Наконец, прошли холода, пробилась зелень, деревья пустили листву, наступила весна. Шейнкам принадлежит приусадебный участок. Хозяйка посылает меня обрабатывать его, засадить овощи.

Мне страшно выйти из дому.

— Офицеры ведь могут меня увидеть и заподозрить, — говорю я ей, не решаясь среди бела дня выйти на двор.

— Не бойся, — успокаивает меня госпожа Шейнк уверенным тоном, — это не опасно: я им скажу, что пригласила в помощь работницу.

Я начала раскапывать и обсаживать их огород, все время стараясь быть спиной к дому. Эсэсовцы действительно интересовались мною, спрашивали фрау Шейнк, что эта за согнутая женщина сидит целый день у них на участке, но поверили ее объяснению и больше не обращали на меня никакого внимания.

В часы доброго расположения ко мне мадам Шейнк любила заводить со мной пространные беседы.

— Я все время удивляюсь, глядя на тебя. Как это ты выдерживаешь годами одна, без медицинской помощи, и все выживаешь? — начала она однажды.

— Вы же верующая, и я тоже, — отвечаю я ей. — Это же Божье повеление, Его чудеса. Кому Он хочет, тому и дарует жизнь, вопреки всяким невзгодам.

— Да, да, ты права, это все от Бога. А ты знаешь, что немцы еще и сейчас увозят и расстреливают целые группы евреев? Того сына и отца, которых я хотела устроить у Песлы, тоже нет в живых. Они мне предложили так много драгоценностей, чтобы спастись, но я ничего не могла для них сделать, — сочувственно сказала она. — Даже неизвестно, где их убили...

Как-то вечером господин Шейнк включил при мне радио. Шла передача из Лондона. Я наострила уши, но сделала вид, что меня это вовсе не интересует.

Сообщается, что у немцев на всех фронтах дела идут из рук вон плохо: красные наступают на Украине и в Белоруссии, англичане теснят в Африке Роммеля¹, партизаны громят тылы. Я улавливаю еще несколько разборчивых фраз и прохожу мимо с деланным равнодушием — пусть для них будет загадкой мое отношение к их бедам, надвигающемуся разгрому, пусть думают, что хотят...

В один из тех дней мадам Шейнк обращается ко мне за советом, пойти ли ей с мужем в кино.

— Если картина хорошая, почему бы вам не посмотреть ее? — отвечаю я.

— Но у нас, верующих адвентистов, ведь это запрещено: посещать кино, театры и прочее — это же грех, — сомневается

1 Роммель Эрвин (1891—1944) — германский военачальник, генерал-фельдмаршал (1942); во Вторую мировую войну командующий войсками в Северной Африке, в 1943—1944 годах — группой армий в Италии и Франции. В 1944 году участник заговора против Гитлера, покончил с собой.

она и, видимо, борется с совестью и убеждениями, заодно проверяя и меня.

— Но это же лучше, чем если бы ваш муж пошел один. Это даже не совсем прилично, — осторожно излагаю я ей свою точку зрения.

В кино они пошли, но в ее глазах я отныне совсем низко пала. Теперь она окончательно уверилась, что раз я готова грешить перед Богом, то наверняка грешила и с ее мужем. Никакие мои доводы, что я больна, безобразна от фурункулов и истощения, от страха и непосильного труда — ничто не могло ее успокоить и вернуть душевное равновесие. Она терзалась подозрениями и мнительностью, но меня все же не отпускала, пока не нагрязнул еще один обыск, приведший, наконец, к нашей разлуке.

Неожиданно сильно забарабанили в дверь. Я забежала в спальню и притаилась за распахнутой дверью. Вошел офицер СС. Он не спеша прошелся по комнатам, что-то спросил, извинился и вышел. Еще раз счастливо отделалась.

Это была уже последняя капля, переполнившая терпение фрау Шейнк. Она и сама была страшно напугана неожиданным визитом и велела мне уходить.

Она дала мне с собой пару старых ненужных ей платьев и пестрый шерстяной платок, чтоб укутаться.

Наступило время прощаться.

— Возможно, ты спасешься и будешь жить, — начала фрау Шейнк, — а нам скорее всего придется бежать и все бросить, — у наших на фронте дела плохи, — она выглядела расстроенной и жалкой.

Еще раньше я случайно заметила, что они с мужем копаются на огороде и достают из земли какой-то небольшой металлический предмет, по-видимому, ящичек с ювелирными изделиями или золотыми монетами — это был верный признак того, что они готовятся бежать и у них наступает чемоданная лихорадка. Но под конец она снова пустилась укорять меня за неверность ее мужа.

— Поверьте, — говорю я ей, — мы же обе верующие, мне предстоит столь опасная дорога, пусть меня полицейские схватят, как только покину ваш дом, если совесть моя хоть самую малость нечиста перед вами.

— Все равно у вас что-то было, — настаивает она и, расставаясь, продолжает еще обиженно, с укоризной грозить мне из окна указательным пальцем, словно говоря: «Запомни, негодница, вот только попадись мне еще!»

«Глупенькая, да мне ли это в голову идет! — мысленно отвечаю я ей. — Может, ты сама скоро что-нибудь поймешь, когда хлебнешь горя, став беженкой».

ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Я направилась в Катлакалнс к моим добрым Вилюмсонам — там меня всегда пригреют. На этот раз решила ехать 10-м трамваем, идущим за Двину в сторону Бауского шоссе. Опустив голову, я вхожу вместе с группой людей и усаживаюсь. В вагоне меня тотчас начинают прожигать подозрительные злые глаза. В особенности одна пассажирка сверлит меня глазами и вот-вот раскричится. Я в ответ пускаюсь непринужденно болтать по-латышски с соседкой, вижу, что атмосфера вражды постепенно рассеивается. Теперь меня принимают за латышку, и я спокойно еду до конца.

От кольца трамвая предстоит идти километров двадцать. У меня совершенно нет сил, ноет спина, фурункул стал настоящей раной, болит живот, я еле плетусь, согнувшись, словно старуха. Дорога кажется бесконечной. Лишь к вечеру приближаюсь к хутору Вилюмсонов, но приходится идти в обход леса, за несколько километров, чтоб не столкнуться со стражей у прожекторов.

Когда я ввалилась, наконец, к Вилюмсонам в дом, они, не узнав меня, в первый миг оторопели и испугались — настолько я постарела, сгорбилась и исхудала. Придя немного в себя, я начала долго и подробно рассказывать о своих злоключениях и мытарствах в городе.

Когда Оливия услышала о болезненной ревности мадам Шейнк, она, рассмеявшись, сказала, что фрау Шейнк сумасшедшая: она даже ревновала мужа к собственной матери.

Вилюмсоны предупреждают меня, что в деревне сейчас очень беспокойно: постоянно приходят на хутора с различными объявлениями и приказами, участились обыски. В доме оставаться нельзя, мне придется жить в лесу.

Пусть будет так, я согласна на все. Скоро сенокос, а пока я располагаюсь в густых зарослях кустарника неподалеку от их дома.

На сене я всегда работаю с большим удовольствием. Над головой безбрежное ясное небо, крутом зеленое море буйно растущей травы. Постепенно я становлюсь крепче. Солнце и ароматный свежий деревенский воздух — это мои лучшие лекарства.

Закончив косить сено на участке луга, принадлежащем Вилюмсонам, мы перебираемся в лес за 25 километров — это они добились разрешения в управе косить бесплатно из года в год на полянах в лесу.

Мне безразлично, где жить и работать, — чем дальше от людей, тем лучше.

Мы приехали на место. Фердинанд Вилюмсон показал мне участок, поработал со мной до вечера, а затем уехал. Я осталась одна. Здесь действительно хорошо. На много верст вокруг ни жилья, ни признака человека. Что может быть лучше? Поют птицы, кричат звери.

Иногда на небе начинают сгущаться тучи, — тогда я собираю в большую копну подсохшую траву и залезаю в нее. Но бывают настолько сильные грозы, что это не помогает, промокаю до нитки. Надвигается ночь, гремит гром, лес освещается синими вспышками молний, я лежу глубоко в сене, пропитанном насквозь дождем, хорошо еще, что ночь теплая. Не сплю, лежу и жду рассвета.

Наутро, едва только встает солнце, я вылезая из копны и принимаюсь разгребать и разбрасывать сено, чтобы оно за день подсушилось. Но однажды я остолбенела: в траве ползли и шипели большие змеи. Я схватила косу и грабли и стала их бить одну за другой, резать на части, пока всех не прикончила.

Спустя пару дней приехал за сеном на телеге Фердинанд Вилюмсон. Мы нагрузили высокую подводку, и я тоже поехала с ним домой. Разгрузив поклажу, мы построили у дома сеновал, где я соорудила себе укромную нору.

В свежем сене много колючек от вики и осоки, они въедаются больно в глаза. Я забираюсь еще глубже, разгребаю до мягкой травы и залагаю на ночь. Мне приснился в ту ночь сон: холодная черная змея обвилась вокруг моей шеи, давит и вот-вот ужалит. Я хочу кричать, мне страшно, я задыхаюсь, но происходит чудо: змея отпускает меня и уползает. Я проснулась в холодном поту.

Честно признаться, я не совсем поняла, было ли это во сне или змея в самом деле лежала со мной, обвинившись вокруг моей шеи...

После сенокоса наступает пора ягод. Мы часто собираем их вдвоем с Оливией. Она предупреждает меня, чтобы в лес ни в коем случае не пускаться без спичек: война разогнала волков прочь от линии фронта, и они стаями бродят теперь в наших краях. Изюм дня в день мы собираем большие корзины грибов и ягод.

К нам в деревню доходят хорошие новости: говорят, что Красная армия овладела Елгавой, это совсем близко. Меня охватывает радостное волнение.

Я вынашиваю дерзкую мысль пуститься навстречу через линию фронта, но через несколько дней стало известно, что красных отбили и отогнали далеко от Елгавы¹.

— И вообще, — уверяют соседи, зачистившие к Вилюмсонам, — немцы еще достаточно сильны и скоро прекратят отступление, они еще в состоянии стабилизировать фронт. Неудачи у немцев были и раньше, но в конце концов их никто еще не побеждал.

Я не выдержала и ввязалась в спор, убеждая, что Гитлер, наверняка, сломит себе шею, и ничто уже не изменит хода войны, — и все в таком духе.

Наверное, я вошла в раж и наговорила много лишнего.

Соседи, напуганные моими словами и моей откровенностью, еще пытаются возражать, но Оливия уже разнимает нас, спорящих, и заканчивает стычку, обращаясь ко мне с укоризной:

— Как Бог пожелает, так и будет, а нам, верующим, совершенно незачем заниматься политикой, да еще ссориться из-за этого!

Соседи расходятся, она сухо с ними прощается и, недовольная, уводит меня из дому.

1 На территорию Латвии советские войска вступили 18 июля 1944 года. 30 июля части 1-го Прибалтийского фронта (командующий И. Х. Баграмян), заняв в результате упорных боев Елгаву, Добеле и Тукумс, вышли к Рижскому заливу у Клапкалнциемса, создав тем самым предпосылки для окружения остатков германской группы армий «Север» в Курляндии. Однако в результате контрнаступления германских войск им пришлось оставить берег залива и Тукумс. По образовавшемуся вдоль побережья коридору немцам удалось провести на запад войска, отступавшие из Эстонии, северной части Латвии и Риги.

Лето на исходе. Приближается сентябрь. Красные уже очищают Латвию, но Рига все еще у немцев. Оливия едет туда, развозит знакомым грибы, ягоды и возвращается с новостями: немцы готовятся сдать Ригу, они спешно эвакуируются и уходят с собой насильно в Германию жителей. В армию забирают почти всех мужчин, даже тех, кто имел раньше бронь.

Тотальная мобилизация докатилась и до Вилюмсонов: забрали Гейна. Немцы, правда, еще посчитались с их религиозностью: верующим-адвентистам запрещено брать в руки оружие. Его определили поваром в одну из воинских частей в Латвии. Таким образом, ему удалось избежать передовой.

В один из тех ранних осенних солнечных дней мне снова суждено было пройти по узкой тропинке жизни над пропастью смерти. Это было в середине сентября, в субботу после полудня.

Я вернулась домой на субботний день после недельного пребывания в лесу, чтобы помыться, привести себя в порядок, взять еду. Я лежу в постели в одежде и отдыхаю.

Вдруг к дому подкатили три подвыпивших полица-немца и один латыш-переводчик: проверка документов. Входит переводчик, он как назло трезв и деловит.

— Кто здесь живет и сколько людей у вас прописано? Принесите, пожалуйста, домовую книгу! — приступает он к делу, обращаясь к хозяину.

Между тем в дом вваливается вся орава полицаев. Нас всех лихорадит, старушке делается плохо, ее укладывают в постель, старик Вилюмсон копается в каких-то бумагах, наконец вытаскивает домовую книгу и передает переводчику.

— А кто эта женщина? — спрашивают они обо мне.

Я лежу головой вниз ни жива, ни мертва. Подумать только — какой кошмар: пройти через столько смертей и невзгод, а тут, когда освобождение уже — рукой подать, когда красные стоят в 20—30 километрах отсюда, так глупо попасться в лапы зверей и погибнуть.

— Это наша знакомая, она помогает нам на огороде, — отвечает сбивчивым дрожащим голосом Фердинанд Вилюмсон.

Меня прошиб ледяной пот, слушая этот диалог полица с хозяином.

— А почему она не вписана у вас в домовую книгу?! — заорал немец.

— Она только недавно приехала, и мы еще не успели пойти в управу, — продолжал Вилюмсон неуверенно оправдываться.

Я все не встаю, лежу, но во мне уже горит, бушует ураган, как в Румбульском лесу перед расстрелом. Я уже вижу, как меня будут расстреливать здесь же, на дворе, у всех на глазах,

да и Вилюмсонов не пощадят, скосят до одного, дом спалят и сровняют с землей, всю деревню вырежут.

Один полицай направляется к моей постели и спрашивает:

— Кто вы такая?! Предъявите документы! Я резко поднимаюсь из под пальто, судорожно хватаюсь руками за голову, будто со мной приступ, глаза не поднимаю и начинаю истерично пересыпать по-латышски, что не понимаю немецкий, не знаю, чего от меня хотят. Переводчик повторяет мне по-латышски немецкое требование:

— Где ваши документы? Предъявите их!

Я сунулась под кровать, достала чемоданчик, стала рыться, перебирать вещи. И тут вмиг я вскочила, бросилась от них в сторону и стала кричать, как в припадке безумия:

— Я бежала от проклятых большевиков и все потеряла — и документы, и дом, и родных, и все, все!... Я была в истерике.

— Откуда вы бежали? — продолжал переводчик допытываться.

— Из Гулбене (мы знали, что эти места уже освобождены). Я остановилась. Стою в той же позе: руки за голову, глаза вниз, проклиная красных за разорение моей богатой усадьбы. Мгновение тишина. Одна лишь я всхлипываю. Затем один из немцев снова спрашивает, понимаю ли я по-немецки. Я покачала головой, на них не смотрю.

— Скажите ей, пусть она завтра же пойдет в город и явится для регистрации беженцев, там ее отправят в Германию, — сказал немец переводчику, и тот повторил фразу для меня по-латышски.

Они вернули Вилюмсону домовую книгу, попрощались, отдали по-военному честь и вышли.

Как пригвожденные, мы остались на своих местах, не веря глазам, словно все это во сне. Со слезами счастья Вилюмсоны расцеловали меня.

— Слава Господу, это Его всемогущая рука, — лепетали мы долго слова молитвы и плакали.

Из окна было видно, что полицейские от нас направились на хутор к Юркевичам и надолго там задержались.

А наутро с самого рассвета к нам прибежала с плачем жена Юркевича и рассказала, что у них было.

Полицай схватили старика, допрашивали и пытали, угрожая расстрелом. Они требовали от него признания о месте нахождения дезертиров и выуживали сведения о соседях, спрашивали о Вилюмсонах и обо мне.

Но Юркевич держался стойко и честно, и никого не выдал. Поиздевавшись вволю, ничего так и не добившись, они

в конце концов убралась, но пригрозили в случае разоблачения расстрелять всех.

В тот же день к нам снова пришли двое из вчерашних немцев напомнить, чтобы я не тянула с отъездом в город к беженцам.

Я как раз сидела перед домом на огороде и занималась уборкой грядок.

Выслушав их, я утвердительно покачала головой в знак согласия, как обычно, не посмотрев в их сторону, чтоб не заметили моих черных, запретных глаз. Они зашли в дом и то же самое повторили хозяевам. Когда они скрылись из виду, вышел отец Вилюмсон и потребовал:

— Уходи, и как можно скорее, не то мы все погибнем.

Я наспех собрала свою корзинку, взяла вещи, попрощалась и пустилась в сторону Риги.

Миновав проселочную дорогу, я приблизилась к шоссе. Меня предупредили, чтобы очень остерегалась этой главной магистрали на Ригу: она сильно охраняется, расставлены посты и проверяют документы.

Я хочу пересечь шоссе в стороне, а затем намереваюсь спуститься к Двине — говорят, по реке курсируют небольшие пароходы, и на них можно добраться до Риги, не подвергаясь проверке.

Иду не спеша, тщательно оглядываюсь вокруг, но тут недалеко у развилки вижу на велосипеде приближается женщина. Гляжу — едет Оливия. Увидев меня, собранную по-дорожному, она испуганно спрашивает:

— Куда ты направилась? Что с тобой? Мы обнялись, расцеловались и завернули в лесок. Я ей подробно рассказала, что произошло у нас в ее отсутствие и как случилось, что мне нужно было немедленно уйти.

— И куда ты теперь думаешь пойти? — в глазах у нее тревога и озабоченность.

— Не знаю, попробую в Ригу, пойду к Саше.

— Да ты в своем уме?! — прерывает она. — В городе паника, неразбериха, все летит у немцев к черту, вверх тормашками. Ты в город не попадешь и у девушек тоже остаться не сможешь, на каждом шагу вахта, ищут по домам.

— Но куда же мне деться? Здесь в деревне ведь тоже нельзя? — я прямо в отчаянии.

— Знаешь что? — говорит Оливия, словно размышляя. — У меня есть план, давай спросим Бога — как Он скажет, так ты и поступишь, скажет Он тебе идти в город — пойдешь, нет — возвращайся.

— А как ты думаешь у Него спросить и как мы пойдем Его совет? — скептически возражаю я ей.

— Сейчас ты сама все увидишь.

Я стою и в ожидании наблюдаю, что она сейчас выкинет.

«Додуматься же — поговорить с самим Богом, она совсем спятила», — думаю я про нее.

— Пойдем на дорогу, — говорит она и тянет меня с собой. — Смотри, вот у меня две бумажки, — рассуждает она в такт своему колдовству и что-то помечает на одной из них. — А эта будет пустая, гляди, теперь я их заворачиваю, — и она скручивает две аккуратные трубочки, поясняя, что значит каждая.

Затем Оливия бросает их высоко вверх над дорогой и подбегает к трубочкам, внимательно вглядываясь, как они легли. Она их подбирает, разворачивает и начинает мне толковать; глаза ее сверкают, лицо одухотворенное, как у пророка.

— Вот, слушай, — говорит она строго. — Бог велит тебе идти назад. Жить ты должна у нас, а в городе погибнешь. Идем и не раздумывай!

Я не возражаю, может, она и права.

— Но где же мне спрятаться? — с испугом спрашиваю ее.

— Пойдешь в лес.

Уверенные в правильности решения, мы с ней пускаемся быстрым шагом назад в сторону дома. Я все думаю об Оливии. Простая деревенская девушка, но сколько в ней человечности, необыкновенной мудрости и чутья. Сколько раз она меня выручала из смертельной беды! Я начинаю уже верить, что это — мой ангел-хранитель...

Не доходя до хутора, Оливия велит мне подождать в лесу: она сбегает принесет мне еды втайне от родителей. Скоро она вернулась и вместе с корзинкой еды принесла мне нашу старую лесную находку — заржавевшую лопатку.

— Вот видишь, говорила я тебе, что она пригодится, — сказала Оливия торжествуя.

— А теперь иди лучше всего в наш малинник, туда никто не заходит. Жди меня завтра. Я хочу сама посмотреть и точно знать, где ты будешь прятаться. Иди и не бойся, я буду тебя навещать, — подбодрила она меня, видя мою нерешительность. Мы расцеловались и расстались. Я пошла вглубь леса километра за три от Вилюмсонов, где мы с Оливией не раз бродили, собирая малину.

Дальше лес прерывается, превращаясь в болотистые заросли и трясину — там много клюквы. Это облюбаванные нами хорошие места.

Ночь выдалась очень сырая, холодная, хоть стоял только сентябрь. Я сижу на пригорке и прислушиваюсь к малейшему треску и шороху, держу наготове спички — мое единственное оружие против волков. С нетерпением жду утра. Леса здесь дремучие, темные и тянутся на десятки километров. От неподвижности я сильно промерзаю, колотит озноб.

Едва только рассвело и можно было различить, не приближается ли кто, я начала быстро двигаться взад-вперед, чтоб согреться и отойти после этой не по сезону промозглой ночи.

Затем я принялась подыскивать укромное место, где бы лучше вырыть убежище.

Я остановилась на невысоком пригорке. На нем раскидистая сосна, сплошь заросшая высокими кустами малинника. Здесь я принялась копать яму. Корни сосны и соседних деревьев переплелись неглубоко под поверхностью. Я расчистила их и стала рыть, так что моя яма в конце концов оказалась покрытой корнями.

Яму я выкопала такой глубины, чтобы, улегшись, полностью скрыться.

К вечеру пришла Оливия и одобрила мое сооружение: ей понравилось и место, совершенно неприметное издали, и маскировка самой ямы — корнями и ветками. Она рассказала, что полиция меня не забыли и снова приходили на хутор проверить, ушла ли я в город.

Она пробыла со мной до темноты, рассказала о новостях, слухах, о том, с кем виделась в Риге. На прощание она обещала регулярно меня навещать и приносить еду.

Вторую ночь я уже проводила в своем собственном «жиле», с трудом втиснувшись в яму, кое-как улегшись горизонтально. Совсем вытянуться было невозможно: яму я по неопытности выкопала в обрез, а лежать можно было только головой вниз: сверху с корней беспрестанно сыпался сухой песок при каждом моем движении и при каждом порыве ветра, колебавшем дерево и теребившем оголенные корни. Лежу, но заснуть не в состоянии.

Меня не оставляют навязчивые мысли: кажется, что это могила, тут я и скончаюсь, становится жутко.

Сверху из глубин леса раздаются крики зверей, но они меня не пугают, будь это даже волки: я уже давно свыклась с жизнью в лесном одиночестве. Страшнее всего — это шаги приближающихся людей, меня от них инстинктивно лихорадит, сжимает сердце.

На другой день я расширила свое убежище, чтобы в нем можно было нормально лежать, унесла подальше весь выкопанный песок и нарвала для подстилки сухой высокой осоки.

Идут дни. Оливия все не приходит. Мне становится тревожно, не случилось ли у них чего худого, за себя мне уже здесь не боязно, но что у них сейчас на хуторе?

Может, их угнали в Германию или забрали на принудительные работы? Времени для раздумий у меня бесконечно много.

Но вот однажды, примерно через неделю, я услышала отчетливо немецкую речь. В лесу фашисты! Это страшное открытие вызывает во мне рой лихорадочных мыслей. Но куда мне еще бежать, если опасно даже в этом отдаленном лесу?!

Я еще лучше замаскировываю вход и надолго залегаю в яме. Лежу неподвижно и вслушиваюсь. Отчетливо слышу, что немцы пилят деревья, стучат топорами, вбивают гвозди, разговаривают, смеются. Должно быть, они окапываются, сооружают здесь бункера-землянки.

На рассвете я бесшумно вылезаю из своей норы и кустами ухожу подальше от этого места собирать грибы. Брожу с корзинкой по лесу. Неожиданно возле меня вырастает группа латышей в немецкой военной форме. Я склонилась к земле, якобы срезаю найденный гриб.

Они подходят ко мне и спрашивают, что я здесь делаю.

— Собираю грибы, — не поднимая головы, отвечаю я им.

От потрясения у меня из носа хлынула кровь. Я вытащила носовой платок, зажала нос и укрыла лицо.

— Где здесь дорога из лесу? — спрашивают они.

Я им объяснила кратчайший путь к шоссе, и они ушли, а я еще долго не могла успокоиться от этой короткой, но смертельно опасной встречи. Прохаживаюсь, встаю, снова иду вперед, все не нахожу себе места.

Целый день я брожу по окрестному лесу, к вечеру подкрадываюсь к яме.

Недалеко от моей ямы теперь развернулось большое строительство, должно быть, немцы планируют засесть здесь надолго.

Уже пошла вторая неделя, а Оливия все не приходит. Что бы могло у них случиться? Голода я не боюсь. Питаюсь тем, что днем нахожу под ногами, — продукты все равно давно уже кончились. Но страшнее всего — жажда. На весь лес кругом ни капли воды, жажду несравненно труднее переносить, нежели голод. Раз я спустилась к клюквенной низине в надежде напиться, там всегда было сыро, и в заросших лунках обычно стояли лужицы. А теперь, как назло, все пересохло, и земля затвердела. Я попробовала копать и копала так глубоко, как

смогла раскопать лопаткой, но так я и не добралась до водоносных слоев.

Мне бы хоть смочить пересохшие губы и горло. Я рву клюкву и ем, но от нее жажда не проходит, а наоборот, разжигается сильнее.

Однажды в лесу началась сильная пальба. Снаряды проносились, свистели и рвались один за другим. Повалились и вспыхнули пораженные взрывом деревья. Видимо, красные проведали о том, что в лесу — немцы, и принялись их «выкуривать».

Но до боли обидно смотреть, как они «мажут», прочесывая одну меня в болоте, вдаль от тех, кому по праву должно было стать жарко от этих стараний. Но все равно мне и от этого радостно.

Я принялась ползти вверх к себе в яму. Снова град пуль и бомб, на этот раз с самолетов. Вот это здорово! Я чуть не подпрыгиваю от радости, я понимаю, что они предназначаются немцам, засевающим здесь поблизости.

Вползаю в яму, прислушиваюсь. Стрельба долго не смолкает. Я лежу и борюсь с жаждой, она меня уже измотала, но я заставляю себя из последних сил не поддаваться, не потерять сознание и здравый рассудок.

Но что же мне делать, как быть? Освобождение так близко, быть может, даже за этим лесом. Этой мыслью я только и живу, и продолжаю держаться. Ведь ясно, что чем больше будет сброшено бомб и страшнее огонь, тем ближе и мое спасение.

Я с нетерпением жду новой атаки, нового шквала огня.

Постепенно я привыкаю к приступам боев и перестрелок, и становлюсь к ним равнодушной. Проходят три недели. Теперь я решаю, что мне больше ждать нечего, нужно рисковать, иначе погибну от жажды. Я решаю пойти через линию фронта навстречу красным.

«Может быть, уже освободили хутор Вилюмсонов и потому Оливия не может прийти, — рассуждаю я сама с собой. — Сначала пойду к ним».

Я наполняю свою корзинку доверху грибами и, набравшись духу, направляюсь на рассвете мимо выстроенных немецких укреплений.

К удивлению, немцы меня не задерживают, должно быть, приняли за местную крестьянку, собирающую на заре грибы.

Я бросилась с жадностью к колодцу ближайшего хутора и, как пустынный, припала к воде. Нет в мире ничего вкуснее и благодатней живительной влаги! Перед хутором Вилюмсонов я остановилась и снова вволю напилась.

Осторожно подхожу ближе к дому и замечаю, что по двору ходят чужие. Я притаилась за кустами и стала дожидаться, чтобы кто-нибудь вышел из своих. Пристально вглядываюсь, что происходит на хуторе. Стоят немецкие автомашины, некоторые из них с разбитыми бортами — следы боев. Еще видны походная кухня, какие-то пушки, разговаривают солдаты — это немецкая воинская часть.

Наконец, из дома выходит старушка Вилломсон и направляется к колодцу. Я выхожу ей навстречу. Она меня замечает и испуганно спрашивает:

— Откуда ты появилась? Мы же думали, что тебя послали с беженцами в Германию. Но ради Бога, не входи к нам, мне некуда тебя деть! Они сделали из нашего хутора казарму, — старушка была в панике.

— Не бойтесь, — успокаиваю ее. — Я у вас не останусь, я пришла только напиться, и мне нужно немного еды. И сейчас же уйду. Тем временем выходит Оливия. Я очень обрадовалась, увидев ее: ведь это мой самый искренний друг. Она подбежала ко мне, тоже обрадовавшись. Мы расцеловались. Мать ушла — стоять группами нельзя, вызывает подозрение немцев.

— Я так боялась и переживала за тебя, Анна, что ты там одна погибнешь, но я никак не могла прийти к тебе, — задыхаясь говорила Оливия. — Я несколько раз пробовала, но там выставили военный пост, и они никого не пропускали. На хуторе у нас тоже переполох, тебе спрятаться будет негде, придется уходить. В доме разместился штаб, а на двор понаехало много солдат, и они ночуют кто на сене, кто где.

Я попросила у Оливии какую-нибудь посудину, чтоб взять с собой побольше воды. Она вынесла мне корзинку с продуктами и две большие бутылки с водой.

— Вот, возьми, тебе этого хватит надолго. Но не вздумай идти по дороге, там стража и тебя сразу задержат, иди лучше назад в лес, — отговаривает меня Оливия от моих намерений вырваться от немцев к красным. — Запомни мои слова! Ты не пройдешь через фронт, тебя убьют. Иди в лес и спрячься в своей дыре.

Мы распрощались. Я ее послушалась и пошла назад к своему лесному убежищу. Мне уже начинает казаться, что ее устами говорит само Провидение. Направляюсь далеко в обход, чтобы не столкнуться с вахтой, может быть, они меня запомнили и теперь подумают, что я шпионю за ними.

— До темноты покручусь в лесу, а там украдкой подползу к яме, — рассуждаю я, шагая.

Но вдруг опять началась яростная перестрелка, и повалил густой дым от горящего леса. Я остановилась в раздумье: впереди верная гибель, там разыгрались сильные бои. Ближе подходить опасно. Я залегла и стала ждать. Стрельба то стихает, то опять усиливается. Меня мучает все тот же вопрос: куда бы все-таки податься на ночь? Ничего не могу придумать. Придется идти назад, дальше нельзя.

Может быть, мне спрятаться у наших соседей? Через фронт мне, конечно, не пройти. Я повернула назад, побежала прочь от лесного пожара.

Приблизившись к хутору, я замедлила шаг, внимательно наблюдая, что происходит на дворе. Меня увидела Оливия и вышла навстречу. Я ей объяснила, почему вернулась — в лесу сильный бой и пожар.

— Это хорошо, что ты вернулась, — сказала она, — сейчас ты уже сможешь у нас остаться, войска меняются каждую минуту, скажем, что ты — соседка. Пойдем, как-нибудь выкрутимся.

Заходить в дом я все же не рискнула, там было много штабных офицеров, руководивших отступлением, а эти подолгу не менялись.

Я расположилась в хлеву на соломе, рядом со стойлом коровы.

На другой день зашел осмотреть хлев какой-то военный — в поисках дезертиров. Дверь была приоткрыта, старушка, сидя на низкой скамеечке, доила корову, а я стояла рядом и мы разговаривали.

— Кто эта женщина? — спросил он строго хозяйку, едва сунулсся вовнутрь.

— Это соседская дочка, — ответила Вилломсон, испугавшись, и прекратила свое занятие. Она повернулась к немцу, со страхом ожидая, что будет дальше.

Немец оглядел кучи навоза, брезгливо морщась от вони, и настрого приказал ей:

— Чтoб сюда никого не пускать посторонних! — И тотчас вышел.

— Слава Богу! — перекрестилась старушка. — Береги нас, Господь милосердный!

Ее трясло от волнения.

Подойв корову, мы вместе вышли, а чуть позже, выждав момент, она завела меня в хлев и замкнула на ключ.

Навозу за лето скопилась огромная куча, местами она доходила до самого потолка, да и кур ночевало целое стадо.

Мне не хватает воздуха, я задыхаюсь от смрада, обливаюсь потом. Подбираюсь к окошку, хочу глотнуть свежего воздуха, но окно, на беду, заколочено.

— Боже мой, как мне вынести эту вонючую скотину и кур! — бормочу я в отчаянии. — Здесь просто невыносимо! Даже сама корова дышит тяжело, вздыхая по-человечески, как при угаре.

Я еще раз взбираюсь к окошку и изо всех сил рву и гну крепления, пока, исцарапавшись, все-таки вырываю его и подставляю лицо под струю ночной прохлады и свежести.

Наконец, наступило утро. Хозяйка открыла хлев, чтобы накормить и подоить корову. Я ей рассказала, как едва не задохнулась, что я уже готова была выпрыгнуть в окно и залезть в какой-нибудь стог на дворе.

— Что ты, что ты! Да ты в своем уме? — ужаснулась старушка. — Солдаты спят во всех стогах и на каждом углу, даже в погребке полно битком. Сейчас нельзя выходить, подожди еще немного, они скоро уедут, эти солдаты ночуют у нас проездом.

Старушка ушла, но, посоветовавшись с Оливией, скоро вернулась и завела меня в дом.

Я расположилась на кровати в недостроенной комнатке, приделась как больная и поставила возле себя табурет, заставленный пузырьками лекарств и порошками. Сижусь и вяжу для Оливии джемпер.

В соседней комнате штаб. Я вижу из окна, как поминутно к дому подъезжают на велосипедах и мотоциклах военные, они заходят в дом и докладывают что-то начальству.

Курьеры привозят и увозят какие-то пакеты, летят приказы и депеши. Ясно одно: немцев здорово жмут на всех направлениях, они еле успевают вывозить свои войска и вооружение.

Оливия чувствует себя очень плохо, запущенный туберкулез зловеще, как тень, преследует ее, могильным призраком стучится кровавый кашель.

Большей частью она проводит время со мной в каморке, лежит безмолвно в постели, подолгу уставив неподвижно в потолок свои грустные голубые глаза.

Она с трудом дышит, каждый ее вздох сопровождается каким-то внутренним скрипом и причиняет ей сильную неутрахающую боль.

Я очень переживаю, видя эту трагедию угасающей юной жизни самого близкого мне человека, но я не в силах ничем ей помочь, ни облегчить, ни отдалить закат. Вижу, но молчу, лишь стараюсь ее приободрить, но она сама все понимает.

В эти дни приехала нас проведать Рути: Курт беспокоится о судьбе своих близких и послал ее к нам, его самого не отпустили со службы. В округе царит растерянность, паника, гремит стрельба, земля горит у немцев под ногами. Рути приехала посоветоваться, что делать — прятаться или эвакуироваться в Германию.

Оливия решает посвятить Рути в мою тайну, чтобы она должным образом вела себя с немцами. Она зовет ее к нам и шепотом объясняет ей, кто я, что со мной приключилось и как я к ним попала. От этих слов Рути совсем обомлела, на побелевшем лице выступила испарина, ее охватил ужас, она ни жива, ни мертва.

— Это не так страшно, — успокаивает ее Оливия. — Война скоро кончится, — шепчет она, — не бойся, зато мы спасем Богу душу. Главное, чтоб никто из военных не заподозрил и не приставал к Анне, и ты можешь помочь нам. — Оливия уговаривает ее занять офицеров пикантными разговорами, покетничать, чтобы отвлечь их внимание от нас и чтоб они не заходили в нашу комнатку. Оправившись от шока, Рути постепенно входит в роль, пожалуй, она делает это даже охотно, с интересом, любуясь собой. Этот спектакль, мне кажется, ей вполне импонирует.

На другой день ко двору неожиданно подъехала новая большая партия немецких солдат. Оливия вышла им навстречу.

Никто, кроме хозяев, не должен находиться в доме. Я спряталась под матрацем. Но тяжелый матрац всем своим весом придавил меня к полу, и так, не смея шелохнуться, я пролежала весь день. К вечеру, когда солдатня укатила, ко мне в комнатку зашла Оливия и дала сигнал выходить. Пользуясь шумом ее затяжного кашля, я выбралась, наконец, из-под массивного матраца. Мы стали перешептываться. Я корчилась от боли переполненного живота, но, чтобы выйти в туалет, надо было пройти мимо немцев через переднюю.

— Иди смело и не бойся, там уже новые, им нет никакого дела до нас, проходи быстро и не гляди на них! — подбадривает меня Оливия и тянет к выходу.

Съездившись, я понеслась мимо немцев на двор...

Прошло еще два дня. Рути ко мне стала относиться гораздо лучше, возможно, она еще находится под впечатлением моего страшного рассказа. Подобно Оливии, она теперь старается во всем мне помочь и защитить.

Жаль, что она спешит в город, мы просим ее остаться, но она отказывается. Ей необходимо вернуться, больше она не

смеет задерживаться в деревне, сейчас очень тревожно, и Курт будет волноваться. Она уезжает.

События лихорадочно сменяются одно другим. В тот же день после полудня к нам прибежали с панической новостью Юркевичи. От смятения и страха они едва могли рассказать, в чем дело. Только что им зачитали новый приказ, что всем сельским жителям сегодня же велено покинуть свои жилища. Кто не подчинится, будет выслан в принудительном порядке в Германию. Наши тоже насмерть перепугались. Как быть?

После всевозможных предположений, посоветовавшись, мои спасители решают остаться и спрятаться — они ничем не запятнаны перед красными. Конечно, я тоже их уговариваю никуда не уезжать.

В конце концов они останавливаются на том, что выкопют внизу в ложбине у лесочка бункер и там будут отсиживаться, пока не сменится власть. Хозяин Фердинанд Вилюмсон уверяет, что в том месте их наверняка никто не заметит.

Юркевичи от этого плана отказываются — они не могут бросить на произвол судьбы своих коров. Вместо этого они предлагают другое: пойти в лес километра за три от шоссе и там на время скрыться. Старик Юркевич утверждает, что знает одно верное место, где они смогут спокойно расположиться, они там выкопют землянку, рядом будут пастись коровы и заодно будет вдоволь молока.

Старушке Вилюмсон тоже жалко расстаться со своей буренкой — это все их богатство. Она советует мне идти вместе с Юркевичами и захватить корову с собой.

Юркевичи, в свою очередь, охотно соглашаются с ее предложением, они рады взять меня в компанию.

— Вместе не так страшно, — рассуждают они, — будем другу другу помогать.

С тем же приказом о выселении полицейские явились и к нам. На сборы даются два часа. Нужно спешить. Мы прощаемся.

С небольшими узелками, волоча за собой на цепочках и веревках коров, мы пускаемся напрямик по полям и запутанным лесным тропкам к тайнику Юркевича.

Через несколько километров мы добрались к небольшому поселку, утопающему в дремучем лесу. Здесь нам на сутки приходится прервать наш путь — началась непрерывная бомбежка и артиллерийский обстрел. Снаряды рвутся со всех сторон, свистят над головами. Словно семена из дырявых мешков, посыпались с самолетов бомбы. Стоит грохот и треск, бушуют вспышки огня.

Мне весело от этой музыки, канонады и жаркого зрелища, хоть все лежим пластом на земле.

Но вот бомбежка стихает, самолеты удаляются. Неожиданно появляются немцы. Увидев нас, они кричат, чтоб беженцам немедленно собраться в одно место и идти к Двине — сейчас пойдут пароход для эвакуации в Германию.

Мы с Юркевичами держимся вместе, они ищут во мне поддержки, все еще не подозревая, что я еврейка.

Немцы здесь наводнили все, солдаты выглядывают из засад в лесу.

Как бы мне избежать этой заварухи с Германией, а тут еще корова. Опять начинается пальба. Суший ад. Завизжали снаряды и посыпались бомбы. Я схватила за цепь корову и побежала с ней изо всех сил назад к Вилюмсонам. Над головой проносятся град смерти, мне кажется, что красные простреливают каждый метр. Я примчалась к хлеву и привязала корову. В доме никого. Вилюмсоны в бункере. Я спустилась к ним и предупредила, чтоб береглись и не показывались из ямы — немцы всех встречных угоняют на пароходы. Пробыв с ними недолго, я побежала к Юркевичам назад, но на этот раз с другой стороны деревни. Пришла в самый раз. Немцев не стало. Юркевичи мне говорят, что после этой бомбежки немцы отступили и больше не возвращались.

Мы перебрались еще глубже в лес и, расположившись на поляне, приступили к рытью землянок. Работали до изнеможения, копали ямы, пилили и таскали бревна для стен и покрытия. Через день убежища были готовы. Коровы, лошади, овцы были на привязи и паслись тут же в лесу.

Во всей этой суматохе и неразберихе я чувствовала себя на седьмом небе, как накануне большого праздника — освобождение на носу. Но вот — снова сильная бомбежка. Мужики и женщины бросаются на землю, плачут, трясутся от страха, я тоже ложусь вместе со всеми, но на душе у меня весело и легко. Я лежу и утешаю Юркевичей:

— Не бойтесь, вот увидите, здесь не упадет ни одна бомба, вы думаете, красные не видят, что здесь нет войск, отсюда же никто не стреляет.

Бомбежка удаляется. Снова спокойно. Мои соседи удивляются, откуда у меня столько смелости и уверенности, и вообще, почему я сияю от радости. Но это моя тайна: пока еще они не должны ее знать.

Днем я помогаю хозяйкам доить коров, мы пьем молоко, но его слишком много, некуда деть, молоко выливают целыми ведрами.

Вдали доносится стрельба, но она уже не так пугает, люди свыкаются. Так проходит несколько дней.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Неожиданно за лесом прекратилась и эта отдаленная перестрелка, стало совершенно тихо. Эта тишина как-то даже показалась непривычной для слуха.

Мы долго вслушиваемся, пытаюсь уловить хоть какой-нибудь звук фронтовой полосы, но тишина не нарушается.

Жена Юркевича решила выйти из лесу, посмотреть, в чем дело, женщине не так опасно показаться. Минут через десять она возвращается, бежит и в возбуждении зовет:

— Послушайте, вставайте, идут красноармейцы!

Меня это известие обожгло словно пламенем. Я, как безумная, бросилась сломя голову им навстречу и закричала во всю глотку на весь лес:

— Ура! Ура! Наши!

Наверное, я была в тот момент и впрямь ненормальной. Ошарашенные моим внезапным превращением, мужики смотрели на меня не то с удивлением,

не то с испугом, полагая, что я засланная коммунистка.

Вдали двигались красивые части. Я побежала к Вилюмсонам. Они еще были в бункере.

— Выходите! Выходите! — встретила я их громким криком и бросилась их целовать, мы захлебывались от слез радости.



Фрида Фрид после освобождения. 1944 г.

Немного успокоившись, мы вышли и подошли к дому. На поле возле дома лежит убитый красноармеец. Здесь был тяжелый бой. Изба насквозь изрешечена пулями и осколками, хлев разворочен, крыша сорвана, но корова, к удивлению, уцелела.

Вскоре у дома появляется группа советских солдат. Я выбегаю навстречу благодарить их, расцеловать, но они злы.

Они явились сюда арестовать старика Вилюмсона за убийство солдата. Из объяснений с солдатами я поняла, что Вилюмсонов оклеветали соседи — мол, они немцы и потому специально остались, чтобы вредить. Бедный Фердинанд Вилюмсон, с трудом передвигаясь, опираясь на свою палку, тоже вышел на шум. Один солдат пытается увести его под конвоем.

— Не смейте трогать этих людей! — закричала я в ответ, срывая свою многолетнюю маску, сбрасывая деревенские платки. — Теперь вы видите, кто я?

Я — еврейка и только благодаря этим людям спаслась, и вот я стою перед вами живая. Это они изо дня в день рисковали своей головой из-за меня!

Красноармейцы остановились в нерешительности, все еще не веря моим словам.

Переговорив друг с другом, они решили послать за солдатом евреем — проверить, не обманываю ли я их.

Вокруг нас собралось много народу. Подошел воин еврей и под общее сосредоточенное внимание десятков глаз в напряженной тишине мы заговорили друг с другом на идише¹ — языке наших расстрелянных матерей, отцов, братьев, сестер... Я расплакалась. Правда была слишком очевидной. Солдаты стали жать нам руки — мне и Вилюмсонам, расспрашивать о подробностях, благодарить всю семью за героизм, обещали представить к награде.

Весть о подвиге Вилюмсонов, спасших еврейку, мгновенно облетела всю деревню. Весь день я рассказывала солдатам о зверствах, о своих мытарствах, о героизме моих спасителей.

1 Идиш (также новоеврейский, разговорно-еврейский) — один из еврейских языков; относится к германской группе индоевропейской семьи языков, письменность на основе древнееврейского алфавита. Сложился в X—XIV веках на базе одного из верхненемецких диалектов, который подвергся интенсивной гебраизации (присвоению элементов древнееврейского языка), а позднее — славянизации. Перед Второй мировой войной на идише говорили примерно 11 миллионов человек, на нем существует богатая и интересная культура.

К нам еще долго потом приходили разные люди, соседи и знакомые, военные из гарнизона и из Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний фашистов...¹ Каждому всего не расскажешь — и тогда я решила в дальнейшем записать все по-порядку. Будут у меня дети, прочту им, когда вырастут, чтобы помнили и никогда этого не забывали.

Так постепенно возникли эти тетради.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оливия скончалась у меня на руках через год после освобождения, в 1945 году. Она таяла с каждым днем от чахотки и сгорела за несколько часов в бреду, инстинктивно прижавшись щекой к моей руке. Я знаю, что у меня не будет в жизни более преданного друга, чем эта немецкая девушка с чистой верой и кристальной душой.



Фрида Михельсон. 1952 г.

Старшего брата Оливии Гейна, кашевара в немецкой воинской части, убило осколком на передовой во время отступления немцев из Латвии в 1944 году.

Жена Гейна Эдит со своей матерью эвакуировалась в Германию. Курта угнали парходом в сторону Пруссии, и ныне он живет в Западной Германии, а его жена Рутти осталась в Риге. Впоследствии она трагически погибла при автокатастрофе.

Славные старички Виллюмсоны тяжело переживали гибель детей. Они оба скончались у себя на хуторе возле Катлакалнса в 1949 году.

¹ См. примечание 1 на с. 10—11.

С их уходом не осталось больше никого из этой семьи. Лишь память и вечная благодарность за жизнь живет со мной в моем сердце к этим благородным людям.

Фрау Шейнк вместе с мужем бежали той памятной осенью 1944 года в Германию, и, я думаю, они живут там и по сей день.

Добрая Песла долго мучилась неизлечимой болезнью. Мы ей, чем могли, помогали, лечили, но, как и Оливия, она умерла в 1945 году.

Саша и Грета и поныне рижанки, они — мои лучшие друзья и самые желанные гости.

Из семьи Берзиньшей в 1965 году не стало сына Альфреда и моей первой спасительницы — старушки-матери Эмилии, остальные живы. Мы с радостью с ними часто встречаемся, спаянные жестоким испытанием и четвертьвековой преданной дружбой.

Рига, 1965—1967 годы.



Фрида Михельсон со своим спасителем Фердинандом Вилумсоном. 1949 г.



Сестры Саша (Александра, слева) и Грета (Маргарита) Клебайс — спасительницы Фриды Михельсон. Фото 1925 г.



Сестры Александра (справа) и Маргарита Клебайс. Фото 70-х гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

«Звезда Давида». Текст радиопередачи

Музыка. Диктор: Еще по сей день в Румбульском лесу плачут чистыми смоляными слезами сосны, израненные два десятка лет назад. Сосны еще живут. ...В их стволах куда меньше свинца, чем пришлось тут на долю людей, зарытых под корнями деревьев.



Фрида Михельсон. 60-е гг.

Еще по сей день тяжело сереет песок Румбульского леса. Еще по сей день. И никогда больше не станет этот песок светлым и не развеется ветром: так густо он налитан человеческой кровью и людским пеплом...

Еще по сей день в седом мхе Румбульского леса рыжеют стреляные патронные гильзы. Безмерно тут их число. И по сей день они источают запах горелого пороха — точно так же, как сосны по сей день хранят в сером песке вопли расстрелянных людей...

...Лишь одна сосна во всем Румбульском лесу засохла, высохла на краю огромной могилы. Предостерегающе вознизила она свои голые сучья в небо. Как странный призрак стоит мертвое дерево между живыми. Его сердцевину располосовала та пулевая сталь, что не пришлась на долю людей. И сосна

нема. Сосна молчит. Сосна погибла... Но есть живой человек. Один-единственный человек¹ из 38 тысяч², проглоченных могилой, — он жив сегодня. Один-единственный человек ушел от края своей могилы в Румбульском лесу. Этого человека зовут Фрида Михельсон. Слушайте же ее трагический рассказ о звезде Давида, о гибели тысяч и о единственной уцелевшей жизни.

Михельсон: Это было летом 1941 года... Когда фашисты оккупировали Ригу, один из первых изданных ими приказов был: клеймить людей желтой шестиконечной звездой. Мы не смели ступить на тротуар, не смели перемолвиться словом с теми, кто не были евреями. Затем началось гетто. Мне трудно говорить об этом.

Диктор: Рижское гетто — кварталы Латгальского предместья³. Здесь жизнь многих десятков тысяч была, как разбитый бокал вина: содержимое бокала осталось выплеснутым снаружи, а обломки разбитого стекла — сметены и заперты двойным проволочным ограждением, отрезавшим от неисполненных дел, человечности, будущего. Людям остались лишь воспоминания, нагое существование да иллюзии.

Иллюзии были, как желтый диск подсолнечника, день за днем роняющего, утрачивающего свои семечки жизни. Не утрачивались одни только воспоминания. Взрослые жили ими, но детям был нужен хлеб.

Михельсон: Отчетливо, точно сегодня, помню: было солнечное октябрьское утро...

Дикторша: С крыш падала осенняя роса, и под застрехами ворковали голуби. Люди из-за колючей проволоки тащились на работу. Через проволоку падали яблоки, буханочки хлеба и куски сахара. Какой-то мальчик, просунув руку за проволоку, зацепился рукавом за колючий шип. Его пытался освободить

1 В день второй акции в Румбуле, 8 декабря 1941 года, помимо Фриды Фрид (Михельсон), спаслись также Элла Медалье (урожд. Гутман) и Матвей Лутрин с женой и еще одна женщина по фамилии Гамбургер, а также неизвестный подросток, которого сначала приютил кто-то из окрестных жителей, а потом выдал. Из спасшихся выжила также Элла Медалье, которая тоже оставила воспоминания: *Медалье Э. Право на жизнь. Рига, 2006; 2-е изд. М., 2011.*

2 Такова была распространенная в то время оценочная цифра, впоследствии уточненная по историческим документам в сторону уменьшения (см. примечание 3 на с. 9—10).

3 Латгальской предместье — последующее название Московского форштадта (см. примечание 2 на с. 47).

тот, кто принял от него ломоть хлеба. Оба были одного возраста и роста: первый — русоголовый, второй брюнет. Быть может, они соседнили на одной школьной скамье, возможно, не были даже знакомы. Не это ведь было важно... Их заметил охранник. Два выстрела разрубили воздух, и двух мальчиков уже не было. Были только два ручья крови, слившиеся в один.

Диктор: ...Слившиеся в один.

Михельсон: Пока жива, я этого не забуду. Но и это было только началом. 30 ноября улица Лудзас покрылась сплошной кровью, под которой скрылся с глаз снег. Я жила по улице Лудзас, 37, и через окно видела все, что происходит на улице... Это был кошмар...

Дикторша: 29 ноября¹ гетто молнией облетела весть: «Фашисты готовят акцию!» Плакаты на улице Лачплеша возвещали, что все жители гетто будут отправлены в лагерь. Поэтому с вечера уже всем быть на улице в походной готовности. Куда? Далеко ли? В такой мороз! С детьми! И почему от семей отделены мужчины?²

Те, кого гнали на работу за пределы гетто, рассказывали, что советские военнопленные говорили им, будто их заставили отрыть огромные рвы. Для кого? Для кого? Нет — невозможно! Но почему так много шуцманов и немцев? Нет, нет! Это невозможно!

Всю ночь строились колонны, плакали дети, выл ветер, трещала стужа и гремели пистолеты. Новое извещение: «Пойдет только половина». 30 ноября около шести утра колонна двинулась в путь. Когда рассвело, люди увидели следы зверства. На улицах лежали старики, мужчины, женщины, дети, лежали и уже не чувствовали мороза. Семь сотен трупов. Из брошенных детских колясок время от времени долетал как бы жалобный звук, но то подвывал ветер — дети уже не могли жаловаться и плакать.

Диктор: ...Дети уже не могли плакать.

Михельсон: После того многие больше не верили, что угнанные живы, но многие тешили себя надеждой. По гетто циркулировало письмо, написанное на идише, присланное будто бы кем-то из ушедших. В письме говорилось, что мужчины работают в лесу, а женщины заняты на стирке. Это снова всех успокоило. Поэтому, когда и мы, оставшиеся, 8 декабря со-

1 В действительности такой приказ был издан 28 ноября 1941 года.

2 Отделение работоспособных мужчин от их семей произошло 29 ноября. С утра все работающие мужчины покинули гетто с рабочими колоннами.

брались в путь, все были озабочены только пищей и теплой одеждой. В нашу колонну не стреляли. Словом, все казалось спокойно.

Дикторша: Растянувшись на несколько километров, колонна бурно текла вон из Риги по Московской улице. Ударила оттепель. Земля смешалась с небом. Люди часто падали на обледенелой мостовой, другие спотыкались, падали на упавших. Но ни у кого не вырывается ни вздохов, ни слова. Молчат и стражи. В нескольких километрах от Риги колонна в немом молчании свернула с шоссе влево и двинулась вперед по земляной дороге. Вскоре после того, как голова колонны достигла небольшого сосняка, взახлеб начал трещать пулемет¹. Ни у кого больше не осталось иллюзий — эта последний рассвет.

Диктор: ...Последний рассвет...

Михельсон: Я глянула назад, но не увидела хвоста колонны: шли и шли люди. Но головы колонна впереди нас уже не было: ею мы были сами.

Дикторша: Окрест леса — солдаты. В лесу — смерть. Десятки бросаются бежать и остаются в снегу без движения. Тогда людям остается только идти путем, указанным штыками. Первый штык в руках очкастого немца. Перед ним ящик. В ящик сыплются золотые часы, монеты, обручальные кольца, ручные браслеты, медальоны. Где-то мелькает улыбающийся капитан с фотоаппаратом. Очкастый заметил, что прошедшая мимо него девушка не сняла с руки кольца.

Диктор: — Ко мне!

Дикторша: — Это кольцо — обручальное!

Девушка успела нагнуться, схватить ивовый прут и один раз ударить. Она успела сделать это один раз...

Второй штык отнимает пальто, третий — пиджак и жакеты, четвертый — платья, пятый, на самом краю рва, — обувь...

Михельсон: И тогда... Пришел мой черед...

Дикторша: У кучи обуви остановилась женщина, умоляя разрешить ей дождаться своих детей. Это длилось мгновение. Шуцман обернулся взглянуть, далеко ли эти дети, и рассудить, может ли себе позволить кандидат в арийцы проявление подобного гуманизма. И в это мгновение Фрида Михельсон кинулась на кучу обуви в трех шагах от могилы. Мимо безостановочно бежали люди. На нее летели ботинки, боты, туфельки, валенки, домашние туфли, полуботинки, галоши, гетры... Мимо непрерывно бежали люди навстречу своей смерти, потому что больше не было куда бежать.

1 См. примечание 1 на с. 74.

Диктор: Потому что больше им не было куда бежать.

Дикторша: Беглянка слегка приподнялась: «Надо всё это видеть — возможно, удастся спастись!» Щели в стене обуви образовали три оконца: на ров, на бегущих людей и на небо. Нижнее оконце выходило на ров. Все время падали крупные хлопья снега. Они падали на руки и лица людей и не таяли на них.

Диктор: И не таяли на них.

Дикторша: Только не потерять рассудка! Не потерять рассудка! Об этом надо рассказать людям.

Над краем рва непрерывно мелькают лопаты. На трупы летит песок.

Диктор: Летит песок.

Дикторша: Тех, кто швыряет песок, не видно... Кто-то из них споткнулся... Это военнопленный!

Затем пара ботинок закупоривает нижнее окно.

Надо глядеть в то, что повыше. Та же картина: кружение снега и в нем — бег людей. Развешаются рубашки, женщины вздевают руки для проклятия. Звучат мольбы о помощи, крики, взывающие к отмщению, к Богу. Похоже, что сама смерть танцует в черной мантилье чардаш под аккомпанемент колыбельных, маузеров и парабеллумов.

Диктор: Пляшет смерть.

Дикторша: А затем и это оконце захлопнулось, и осталась одна-единственная щель сквозь сосновую ветвь на небо. Она оставалась долго. Перестал идти снег, но стрельба не кончалась.

Небо погелубело: значит — солнце.

Рядом с горой обуви присаживаются два шуцмана и толкуют, гадают, когда расстреляют могильщиков — военнопленных и политических из Саласпилса¹. Должно быть, сразу, как только тут будет покончено и они выкопают сами себе могилы.

Бесперебойно работает машина смерти.

Течет время. Показывается желтое солнце. Оно медленно катится в сторону Риги и беззвучно садится в розовый закат. Сквозь сосновую хвою солнце пылает кровоточащей желтой звездой.

Диктор: Истекает кровью звезда Давида.

Дикторша: В сумерках захлебываются и умолкают автоматы и пулеметы. Пять человек осматривают свои затворы и обнаруживают в них нерасстрелянные патроны. И тогда в сону, стоящую на расстоянии одного шага, бьют пять длинных очередей свинца. Уходя, пятеро говорят: «Достаточно на сегодня».

на». На ночь на месте остается немецкая охрана — не то пять, не то семь человек. Они бродят взад и вперед и, как кажется, роются в горах одежды. Морозит. Кто-то играет на губной гармошке, остальные прыгают и переминаются с ноги на ногу. Согревшись, они приступают к дальнейшему сбору контрибуции, как это и подобает победителям. Затем едят и пьют водку. Затем снова рыщут в одежде убитых.

Внезапно где-то поодаль тишину пререзает крик ребенка: «Мама!» И сосны разносят эхо: «Мама!»...

Стража вскакивает на ноги. Звенят прислоненные было к дереву винтовки. Звери бегут в лес охотиться на ребенка. Как только звук их шагов стихает, беглянка начинает осторожно раскидывать обувь и вырывается. Она бежит из лесу, убегает от той стороны, где слышны людские голоса и горят огни станции Румбула.

Диктор: Начинается дорога жизни.

Дикторша: В то время как звери охотятся на дитя человеческое, человек протягивает человеку руку.

Диктор: Ночь и день первый на гумне.

Дикторша: Ночь вторая на сеновале.

Диктор: Третья ночь в копне.

Дикторша: Три ночи на конюшне в пустом стойле.

Диктор: В комнате — шуцманы, в кладовой — еврейка.

Дикторша: Три недели в Шкиротаве, в доме у Берзиньшей.

Диктор: Ночь в Риге на лестничной клетке.

Дикторша: Ночь в погребке.

Диктор: Три недели в пустой квартире.

Дикторша: Три месяца в Чиекуркалнсе.

Диктор: Три года возле Кекавы, на подворье у Вилломсонов.

Дикторша: Человек человеку дал убежище.

Диктор: Человек стоял на страже человека.

Дикторша: Человек делился с человеком скудным времен войны хлебом.

Диктор: Человек ради человека рисковал своей жизнью...

Дикторша: Долгих три года.

Диктор: Когда в дом к Вилломсонам вошел первый красноармеец, Фрида Михельсон развязала узел на платке, и ее волосы уже не были черными.

Михельсон: И вот мой рассказ окончен. Порой мне кажется, что затем я только и спаслась, чтобы этот рассказ повторять и повторять вам, люди. Но одно угнетает мое сердце — там, в лесу, суетился улыбающийся капитан, фотографировал и распоряжался стрелками. А что если он жив?!

¹ См. примечание 1 на с. 65.



Фрагмент полосы газеты «Маарив» («Вечерняя») с публикацией о Фриде Михельсон

Диктор: А что если он жив? Если он сегодня жесткими командными словами гонит на полигон новое стадо зверей? И, науськивая, демонстрирует на карте Россию, показывает на Прибалтику, где стояли его родовые усадьбы?

Тогда — он сторит на этот раз. Капитан, напрасно протрубили к войне. В шаге от границы звери рассыплются отравленным пеплом. И люди, подняв этот пепел от земли, развеют его на все четыре стороны, чтобы не поганить землю.

Текст передачи Латвийского радио (автор Янис Бриедис). [Февраль 1963 года]. Музей «Евреи в Латвии», III/74.

«Спасенная привела к обвинению нациста, который приказал ей раздеться». Газетная публикация

В память Катастрофы

«Это тот человек! В жизни я его не забуду! Он был одним из тех, кто участвовал в нашем истреблении. Не забуду его до гроба! — Эти слова на идише произнесла в большом волнении старая и болезненная женщина в суде в Балтиморе (США), когда ей была показана фотография 50-х годов. — Этот человек — латышский айзсарг¹, — сказала она.

37 лет она носила в себе воспоминания о преступнике, мечтала отомстить ему. В прошлом месяце она достигла своей цели. Фрида Михельсон, 72 лет, способствовала тому, что Карлис Детлавс, 68 лет, был изобличен и признался в участии в уничтожении рижских евреев в декабре 1941 года. Женщина, которая была одной из двух чудом спасшихся женщин при массовом убийстве в Румбульском лесу и которая была свидетелем, слышавшим и видевшим ликвидацию 26 тысяч евреев, — привела к обвинению человека, приказавшего ей снять одежду, как и всем, стоявшим в очереди перед рвом смерти.

29 лет Детлавс проживал в одном из предместий Балтимора тихо и спокойно, как честный подданный. Полгода длилось его судебное дело в американском суде по делам убийств. Он отрицал все и вся — что он был нацистским преступником, несмотря на то, что иммиграционные власти пытались доказать, что

1 См. примечание 1 на с. 31.

именно этот человек очень лгал в 1950 году, когда он поселился в США, утаив от иммиграционных властей свое бандитское прошлое.



Фрида Михельсон. 1977 г.

Можно сомневаться, вспомнил ли он эту женщину, которая взошла на свидетельскую трибуну, чтобы произнести свой страшный рассказ, обнаживший его деяния. По всей вероятности, для него было сюрпризом услышать, как она перехитрила его и осталась в живых, чтобы поведать миру, что случилось в Румбульском лесу. После ее ошеломляющего рассказа у него не осталось другого выхода, кроме как признать свою вину. Ему пришлось утешиться тем, что наказание, которое его ожидает как соучастника преступлений, не тяжкое — изгнание за пределы США.

Фрида Михельсон, возвратившаяся в Ригу сразу после освобождения, приехала

в Израиль в декабре 1971 года, но воспоминания и кошмары гетто и Румбульского леса преследуют ее все время.

На Детлавса она вышла, столкнувшись с ним два года назад. Случилось это, когда отдел израильской полиции, занимающийся нацистскими убийцами, искал свидетелей против одного из самых отъявленных латвийских убийц евреев — Арайса¹. Среди тринадцати фотографий, которые ей показали, она внезапно обнаружила знакомый образ. «Это тот человек, который заставил меня раздеться», — сказала она взволнованно. Этим человеком был Детлавс. Когда ей стало известно о суде над Детлавсом в США, несмотря на противополоказания по состоянию своего здоровья, она решила поехать в Балтимор и стать свидетелем против него. В поездке ее сопровождала родственница, врач Инна Михельсон, которая также прошла через многие страшные испытания, будучи девочкой во время Катастрофы в Риге. Она оказывала ей и моральную, и медицинскую поддержку.

¹ См. примечание 2 на с. 3—4.

— Фрида очень больна, — рассказывает она, — и если бы она ехала сама, она бы не добралась до суда.

Мужчина на скамье подсудимых совершенно отличался от того эсэсовца из Румбульского леса. Умышленно изменивший внешность — у него были большие очки и вставные зубы, которые, по всей видимости, несколько изменили его внешность. Но ошибиться в нем было нельзя. Как сказала Фрида следователям, «тогда холодные глаза разбойника смотрели прямо, сегодня они косят...». Будучи портнихой, она точно помнила, какую одежду он носил и каким головным убором была покрыта его голова. Даже его рост она назвала почти точно. Когда адвокат [обвиняемого] попросил нарисовать эту шапку, она сказала: «Рисовать я не умею, но дайте мне ткань и чем шить, и я сошью эту шапку».

Целый день длились свидетельские показания Фриды Михельсон. Перед лицом преступника, перед лицами обвинителя и защитника, перед лицами многих евреев Балтимора, которые заполнили весь зал, она поведала свой страшный рассказ: сразу после того, как Детлавс ударил ее по руке и заставил раздеться, она спаслась в какую-то долю секунды, ибо никто на это не обратил внимания: она бросилась на землю, погрузив голову в снег и притворившись мертвой. Она рассказала, что те, кто должен был быть убитым, должны были предварительно раздеться, снять обувь. Им было велено бросать эту обувь в то место, где лежала она. «Вскоре я лежала под горой обуви», — продолжала Фрида Михельсон. После наступления темноты, продрогнув до основания, она выползла наружу и бежала с этого места, сопровождаемая внутри криками о помощи обреченных людей — женщин, детей, стариков, которые не дают ей покоя всю жизнь.

На следующий день обе женщины вернулись в суд продолжать свидетельские показания после ужасной ночи, которую они провели в гостинице. Инна рассказала: «В четыре утра мы проснулись и начали друг с другом разговаривать. Внезапно мы почувствовали запах дыма в комнате. Мы открыли дверь. В соседней комнате жил помощник прокурора. Он также открыл дверь и сказал, что дом горит и надо спасаться. Лифт, находившийся напротив, уже не работал. Был запасной аварийный выход, и через него мы почти нагие начали спускаться вниз. Наша комната располагалась на 15-м этаже. Все было окутано дымом. Фрида почти уже лишилась чувств, и тогда ее поднял на свои плечи помощник прокурора и с 13-го этажа снес вниз. Нас перевели в гостиницу напротив нашей. Выяснилось, что это был небольшой пожар, который ликвидировали через не-



Фрида Михельсон. 1979 г.

которое время. Через два с половиной часа мы уже смогли вернуться в нашу комнату. Несколько позже было установлено, что пожар в гостинице распространился из трех очагов одновременно, и, по данным балтиморских газет, прокомментированным местной полицией, это был преднамеренный поджог. Кто его совершил и связан ли пожар с проходящим судом над Детлавсом, газеты не сообщили». Однако все, что произошло с Фридой ночью, только укрепило ее настойчивое стремление вернуться завтра в суд, чтобы закончить дачу свидетельских показаний.

— Честь и хвала ей, — не удержался сказать судья. Фриду допрашивали еще три часа, и этим была исчерпана ее обязанность, определившая обвинительное заключение против нацистского преступника.

Между тем продолжительное стояние на ногах не укрепило ее слабый организм. По возвращении обеих женщин в Нью-Йорк Фриде была предоставлена возможность несколько успокоиться. Инна поместила ее в неврологический институт на четыре дня. Свою родственницу, однако, Фрида попросила как можно быстрее отправить ее в Израиль. И действительно, когда появилось небольшое улучшение в ее болезненном состоянии, врач Михельсон взяла на себя риск, и обе женщины поспешили вылететь в Израиль. Фрида Михельсон вернулась в свой дом в Хайфу. Там она оправилась от болезни и держится твердо, крепясь после тяжелого душевного испытания, которое ей пришлось перенести в Балтиморе. Инна Михельсон также вернулась к своей работе в Институт Гельвица в Тель-Авиве. И когда она возвращается к событиям поездки в США, то вновь не может утаить своих восторженных чувств к Фриде, которая вопреки физической слабости остается «железной женщиной». «Это было тяжкое испытание, — говорит Инна, — но с нами был Бог».

*Публикация в израильской газете «Маарив»
(«Вечерняя»), 9 февраля 1979 года.
Перевод с иврита.*

«Свидетельница разоблачает Детлавса». Газетная публикация

Суд над военным преступником

В западных странах продолжаются судебные процессы над военными преступниками латышского происхождения. Недавно наша газета писала о суде в Гамбурге, где на скамье подсудимых находился массовый убийца евреев, латышей и мирных жителей других национальностей Виктор Арайс¹ — командир латышских СД во время немецкой оккупации Латвии. В Балтиморе продолжается весьма затянувшийся процесс над Карлисом Детлавсом, одним из участников «зондеркоманды»² убийцы Арайса, обвинение против которого поддерживает служба иммиграции и натурализации США.

На этом процессе суд проверил доказательства обвинения, опросил очевидцев преступления. Недавно, 11 января, чикагская газета «Чикаго сан-таймс» описала эпизод с этого процесса. Мы предлагаем нашим читателям перевод статьи.

Балтимор. 72-летняя женщина, одна из двух латвийских евреек, оставшихся в живых после массового уничтожения, которое нацисты устроили в Риге во время Второй мировой войны, сообщила при допросе в федеральном ведомстве депортации, что обвиняемый Карлис Детлавс издевался над ее мольбой о милосердии и втолкнул ее в открытый ров, в котором было убито 30 000 евреев.

72-летняя Фрида Михельсон в среду давала показания на допросе в службе иммиграции Соединенных Штатов, что латышский шуцман на месте убийства в Риге толкнул ее в ров навстречу немецким пулеметам, несмотря на ее мольбы. Она опознала в этом шуцмане Детлавса.

Михельсон, которая теперь проживает в Израиле, опознала Детлавса по фотографии 20-летней давности. Иммиграционные чиновники сказали, что на фотографии Детлавс заснят примерно в 38-летнем возрасте.

В среду в зале суда, разглядывая фотографию, Михельсон сказала: «Так как он участвовал, он пытался нас уничтожить, никогда не забуду этого мужчину у моей могилы. Я не верила,

1 См. примечание 2 на с. 3—4.

2 Зондеркоманды — созданные нацистами специальные отряды полиции, СС или СД, которые занимались массовым уничтожением мирного населения и военнопленных главным образом на оккупированной территории СССР.

что иду на смерть». Михельсон не просили опознать Детлавса в зале суда. Ведомство иммиграции и натурализации США пыталось депортировать 68-летнего Детлавса на том основании, что он 28 лет назад подделал иммиграционные документы, утаив, что был причастен к военным преступлениям нацистов. Против него было выдвинуто обвинение в соучастии в уничтожении жителей Риги еврейской национальности 8—9 декабря 1941 года.

Детлавс, поселившийся в Балтиморе в 1950 году и работавший на заводе компании «General Electric» рабочим до ухода на пенсию в 1973 году, отрицал обвинение, уверяя, что во время войны не находился в Латвии, а был призван в немецкую армию, чтобы воевать против русских.

Михельсон, которая изъяснялась с помощью переводчика, рассказала, что она и другие евреи были выведены за пределы Риги и им было приказано идти в открытый ров. Она сказала, что показывала Детлавсу, который был в форменной одежде, документы, в которых указывалось, что она портниха, в надежде, что такое полезное занятие может спасти ей жизнь.

Здесь следует добавить, что Карлис Детлавс, 1911 года рождения, в начале 30-х годов активно участвовал в латышской националистической фашистской организации «Перконкрустс», члены которой во главе с Г. Целминьшем, А. Андерсоном, А. Шилде и др., уже в первые дни оккупации Латвии участвовали в зверских преступлениях против человечества, проповедовали фашистскую человеконенавистническую идеологию. Фашистская деятельность Детлавса была настолько вопиющей, что даже лидер национальной буржуазии Ульманис в годы своей диктатуры был вынужден посадить его на скамью подсудимых. В 1937 году Детлавса осудили на шесть месяцев тюрьмы. Осуждая фашиста таким либеральным наказанием (в сравнении с теми, к которым приговаривались коммунисты и комсомольцы, представители трудового народа), Ульманис в то же время внешне демонстрировал, что якобы отмежевывается от своих соратников-перконкрустовцев. Во время немецкой оккупации Детлавс участвовал в еврейских погромах и поджоге синагоги 4 июля 1941 года в Риге, в расстрелах в Бикерниекском лесу, в Румбульском лесу и в других местах Латвии. 13 февраля 1943 года он стал членом штаба Арайса и участвовал в так называемой карательной операции против мирных жителей Белоруссии и Калининской области¹ Российской Федерации; был одним из извергов Саласпилского лагеря смерти. Понятно, что во время

1 Ныне Тверская область.

KARA NOZIEDZNIĒKU PRĀVAS

LIECINIECE ATMASKO DETLAVU

Rietumu lielvalstīs turpinās tiesas procesi pret latviešu izcelsmes kara noziedzniekiem. Nesen mūsu avīzē rakstījām par prāvu Hamburgā, kur apsūdzētā krēslā atrodas ebreju, latviešu un citu tautību mierīgu iedzīvotāju masu slepkava Viktors Arājs, latviešu SD komandieris vācu okupācijas laikā Latvijā. Baltimorā turpinās visai ietilgušais process pret Kārlī Detlavu, vienu no Arāja slepkavu «zonderkomandas» dalībniekiem, pret kuru apsūdzību uztur ASV imigrācijas un naturalizācijas dienests (IND).

Sajā prāvā tiesa pārbauda apsūdzības pierādījumus, pratina nozēgumu dienu lieciniekus. Vienas tiesas dienas epizodi nesen, 11. janvārī, atlejoja Čikāgas laikraksts

CHICAGO Sun-Times
Thursday, January 11, 1979

Mūsu lasītājiem sniedzam šī raksta tulkojumu:

Baltimora. 72 gadus veca sieviete, viena no diviem ziņniekiem, kas palikuši dzīvi pēc Latvijas ebreju masu slaktiņa, kuru nacisti sarīkoja Rīgā otrā pasaules kara laikā, ziņoja federālā deportācijas dienesta nopratināšanā, ka apsūdzētais Kārlis Detlavš nīrgājis par viņas lūgumiem pēc zēlastības un iegrūdis viņu vajējā tranšējā, kur noslepkavoja 30 000 ebreju.

72 gadus vecā Frīda Mihelsone trešdien liecināja Savienoto Valstu imigrācijas dienesta nopratināšanā, ka latviešu šūcmanis Rīgas slaktiņa vietas nokalnē grūdis viņu pretī vācu automātiem, neraugoties uz viņas lūgšanos.

Viņa identificēja Detlavu kā šo šūcmani.

Mihelsone, kas tagad dzīvo Izraēlā, identificēja Detlavu pēc 29 gadus vecas fotogrāfijas. Imigrācijas ierēdņi teica, ka fotogrāfijā Detlavš uzņemts apmēram 38 gadu vecumā.

Trešdien tiesas zālē aplūkoda fotogrāfiju. Mihelsone teica: «Tā kā viņš pedalījās, viņš mēģināja mūs iznīcināt. Es nekad neatzīmīstīšu šo vīru pie mana kapa. Es nevarēju ticēt, ka es eju nāvē.»

Mihelsoni nelūdza identificēt Detlavu tiesas zālē.

Savienoto Valstu imigrācijas un naturalizācijas dienests mēģināja deportēt 68 gadus veco Detlavu uz tā pamata, ka viņš pirms 28 gadiem viltojis imigrācijas dokumentus, noliedzams, ka bijis iesaistīts nacistu kara nozēgumos. Pret viņu celta apsūdzība par piedalīšanos Rīgas ebreju tautības iedzīvotāju slaktiņā 1941. gada 8.—9. decembrī.

Detlavš, kas ieceloja Baltimorā 1950. gadā un bija kompānijas «General Electric» rūpnīcas strādnieks, līdz aiziešanai pensijā 1973. gadā, noliedza apsūdzības, apgalvodams, ka kara laikā nav atradies Latvijā, bet bijis iesaistīts vācu armijā, lai cīnītos pret krieviem.

Mihelsone, kas runāja ar tulka starpniecību, pastāstīja, ka viņa un citi ebreji izvesti mežā ārpus Rīgas un viņiem likts iet uz vajēju tranšēju. Viņa teica, ka rādījusī Detlavam, kas bija uniformā, dokumentus, kuros norādīts, ka viņa ir šūvēja, cerībā, ka šāda noderīga nodarbošanās varētu glābt viņai dzīvību.

Te jāpiebilst, ka Kārlis Detlavš, kas dzimis 1911. gadā, trīsdesmito gadu sākumā aktīvi darbojās latviešu nacionālfašistu organizācijā «Pērkonkrusts», kuras locekļi ar G. Celmiņu, E. Andersonu, A. Šildi un citiem priekšgalā jau ar okupācijas pirmajam dienam Latvijā piedalījās zvērisko nozēgumos pret cilvēku, sludināja fašistisko cilvēkniekēju ideoloģiju. Detlava fašisms darbībā bija tik kliezdošs, ka pat nacionāls buržuāzijas līderis Uļmanis savas diktatūras laikā bija spiests viņu nosēdināt uz apsūdzēto sola: Rīgas apgabaltiesas kriminālnodaļa Detlavu 1937. gadā notiesāja uz sešiem mēnešiem cietumā, ar šo liberā-

Survivor of Nazi Latvia massacre identifies guard

From Sun-Times Wire
BALTIMORE—A 72-year-old woman, one of only two known survivors of the Nazi massacre of Latvian Jews at Riga during World War II, told a federal magistrate Monday that defendant Kārlis Detlavš snuffed at her plea for mercy and pushed her toward an open ditch where 30,000 Jews were slaughtered.

Frída Mihelsone, 72, testified Tuesday at the U.S. Immigration Court hearing that a Latvian guard at the site of the Riga massacre shoved her toward the German machine-guns despite her pleadings. She identified Detlavš as the guard.

Now living in Israel, Mihelsone identified Detlavš as a 29-year-old photographer. Immigration officials said the photograph showed Detlavš at the courtroom Tuesday. Mihelsone said: "As he took part, he tried to encourage us. I'll never forget that man to my grave. I couldn't believe I would go to my death."

MICHELSONE WAS NOT asked to identify Detlavš in the courtroom. The U.S. Immigration and Naturalization Service has been trying to deport Detlavš, 68, on charges he falsified immigration papers 23 years ago by claiming he was involved in Nazi war crimes. He is accused of taking part in the Dec. 8-9, 1941, massacre of more than 30,000 Jewish residents of Riga, Latvia.

Detlavš, who came to Baltimore in 1950 and was a factory worker for the General Electric Co. until he retired in 1973, had denied the charges, claiming he was drafted into the German army in 1940 to fight the Russians, but was not in Latvia during the war.

Mihelsone, speaking through an interpreter, said she and other Jews were taken to a forest outside Riga and ordered to walk toward an open ditch, she said. She showed Detlavš, a guard, papers that identified her as a seamstress in hopes that such a trade would save her life.

Фрагмент полосы газеты «Дзимтенес балс» («Голос Родины») с публикацией о Фриде Михельсон

окончания войны Детлавс бежал из Латвии и проник в среду эмигрантов, выдавая себя за «политического беженца». В этой роли он прижился настолько удачно, что его, военного преступника, в 1961 году избрали начальником балтиморского отделения организации “*Daugavas vanagi*” («Ястребы Даугавы»)¹. В 50-е годы Детлавс обосновался в Балтиморе (605 *Wooborn Ave*) на те средства, которые он заимел, реализуя драгоценности, награбленные у уничтоженных евреев.

Таков этот военный преступник, которого пытаются представить невинной Божьей овечкой так называемый «Фонд справедливости», созданный корпорантами² Даумантсом Хазнерсом и его друзьями, чтобы, оболванивая своих земляков на чужбине, выманить из их карманов доллары для защиты такого выродка человечества.

Как известно, ведомство иммиграции и натурализации Соединенных Штатов в настоящее время поддерживает обвинение в суде против еще трех выходцев из Латвии — военных преступников: отца упомянутого Хазнерса — Вилиса Хазнерса, одного из организаторов и руководителей добровольных латышских полицейских и штурмбанфюрера СС, а также латышского полковника СД Эдгара Лайпениекса и Болеслава Майковского, начальника полиции, массового убийцы людей в Резекненском районе.

Как видно, круг доказательств обвинения вокруг преступников сужается.

*Публикация в латышской газете «Дзимтенес балсс» («Голос Родины»), № 7—8, февраль 1979 года.
Перевод с латышского.*

- 1 Латышская общественно-политическая организация в эмиграции, основанная в 1945 году в Бельгии бывшими военнослужащими довоенной латвийской армии и латышских формирований, созданных нацистами. С 1990 года ее отделение действует и в Латвии.
- 2 То есть членами корпорации — объединения на основе общности профессиональных или сословных интересов. Вероятно, имеются в виду студенческие корпорации, которые по примеру прибалтийских немцев в XIX — начале XX стали создавать и латыши. После окончания учебного заведения корпоранты переходили в разряд филистеров и продолжали считаться членами этих организаций.

Давид Зильберман

Давид Зильберман родился в Латвии, в городе Прейли, в 1934 году. Высшее образование получил в Таллинском политехническом институте, который окончил в 1957 году. Начиная с 1958 года он активно включился в сбор материалов о национальной катастрофе евреев во время Второй мировой войны. Он был среди еврейских диссидентов, которые боролись против антисемитских проявлений советской власти, а также за право советских евреев репатриироваться на свою историческую родину — в Израиль. В результате он долгие годы был лишен возможности выехать из Советского Союза. Он подвергался репрессиям со стороны советского режима — слежке, обыскам, допросам в КГБ (Комитете государственной безопасности СССР), дискриминации на работе. Давид Зильберман был среди тех советских евреев-отказников, которые устроили акцию протеста в Москве в Президиуме Верховного Совета и Министерстве внутренних дел СССР 10—11 марта 1971 года. Пятьдесят шесть



Мемориал жертв Холокоста в Прейли, сооруженный на личные средства Давида Зильбермана.

рижских евреев, к которым позднее присоединились еще несколько десятков евреев из других городов Советского Союза, в самом сердце Москвы в тот раз устроили сидячую забастовку с голодовкой, требуя разрешения на выезд в Израиль. В истории советского режима это была невиданная гражданская смелость, что вызвало широкий резонанс на Западе. Под давлением



Д. С. Зильберман, Нью-Йорк, 1987 г.

мирового общественного мнения советским органам безопасности пришлось уступить и выдать разрешение на выезд нескольким тысячам евреев. В их числе был и Давид Зильберман, который в 1971 году переехал Израиль. Этот эпизод движения протеста советских евреев он впоследствии описал в документальном очерке «История двух дней. Дневник демонстрантов». Очерк был опубликован в 1971 году в израильском университетском издании «Хаума», а в 1972 году — в журнале «*American Zionist*» (США).

В настоящее время Давид Зильберман живет в США, в Нью-Йорке, и работает независимым лицензированным инженером-консультантом. За несколько десятилетий им собрано большое количество воспомина-

ний евреев, выживших в Холокосте, которые сегодня имеют высокую историческую и научную ценность. Эти материалы публиковались в периодике Израиля и США и сборниках воспоминаний, наиболее значительная часть его собрания обобщена в книгах. В 1973 году он издал в Израиле на русском языке книгу воспоминаний выжившей в акции уничтожения узницы Рижского гетто Фриды Фрид (Михельсон) «Я пережила Румбулу». Книга впоследствии была издана на идише и английском. Затем последовала книга «Иосиф Кузьковский. Памяти Художника» о жившем в Израиле еврейском художнике, бывшем рижанине Иосифе Кузьковском (*Yosef Kuzkovsky, 1902—1970. Tel-Aviv, 1975*). В 1989 году Д. Зильберман издал объемистый сборник воспоминаний бывших узников гетто и кон-

центрационных лагерей Латвии «И Ты это видел» (Нью-Йорк)¹. В 2000—2004 годах Д. Зильберман работал над книгой о Жанисе Липке² и параллельно с этим собирал также материалы о спасителях евреев в своем родном городе Прейли.

В августе 2004 года в Прейли был открыт мемориал жертв Холокоста. Памятник создан по инициативе и на личные средства Давида Зильбермана.

*Маргер Вестерман,
руководитель Музея «Евреи в Латвии»,
2005 год.
Перевод с латышского.*

- 1 В 2006 году в Риге вышло второе издание этого сборника.
- 2 Липке Жанис (1900—1987) — рижский рабочий. В период нацистской оккупации (1941—1944) в своем доме на Кипсале (один из островов в дельте Даугавы (Зап. Двины), в черте города Риги) укрыл и спас от смерти более 50 евреев. В 1989 году на рижском Втором Лесном кладбище ему был установлен памятник, а на Новом еврейском кладбище (Шмерли) в 1990 году — памятный камень в честь него и его супруги Иоганны. Автор обоих памятников — скульптор Лея Новоженец (р. 1921). Книга Д. Зильбермана о Ж. Липке «Подобно звезде во мраке» вышла на латышском и английском языках: *Zilbermans D. Kā zvaigzne tumsā: Atmiņas par Jāni (Žani) Lipki. R., 2005; Silberman D. Like a Star in the Darkness: Recollections about Janis (Zhan) Lipke. Riga, 2005; 2nd ed. Riga, 2010.*

Издано в 2010 г.

В серии «Российская библиотека Холокоста» в 2010 г. вышли в свет следующие издания:

Историческая память: противодействие отрицанию Холокоста. / Материалы 5-й международной конференции «Уроки Холокоста и современная Россия» / Под ред. И.А. Альтмана. Сост.: С.Б. Герус. — М.: 2010

Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И.А. Альтман. — М.: 2010

Гехт В.Г. **Воинское звание — воспитанник.** — М.: 2010

Собибор / Сост. Виленский С.С., Горбовицкий Г.Б., Терушкин Л.А. — М.: 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть Фриды Михельсон (<i>А. Эзергайлис</i>)	3
Предисловие (<i>Д. Зильберман</i>)	9
Предисловие к израильскому изданию (<i>Д. Зильберман</i>)	15
Предисловие к российскому изданию (<i>К. Феферман, Л. Терушкин</i>)	16
НАЧАЛО ТРАГЕДИИ	19
ВАРАКЛЯНЫ	23
РИЖСКАЯ ПРЕФЕКТУРА	32
ГЕТТО	51
ПЕРВАЯ АКЦИЯ	60
ВТОРАЯ АКЦИЯ	69
СКИТАНИЯ. БЕРЗИНЬШИ	76
ПЕСЛА	97
ФРАУ ШЕЙНК. ОЛИВИЯ. ВИЛЮМСОНЫ	106
СНОВА У ФРАУ ШЕЙНК	127
ПОСЛЕДНИЕ ИСПЫТАНИЯ	134
ОСВОБОЖДЕНИЕ	150
ПОСЛЕСЛОВИЕ	153
Приложения	
«Звезда Давида». Текст радиопередачи	156
«Спасенная привела к обвинению нациста, который приказал ей раздеться»	
Газетная публикация	163
«Свидетельница разоблачает Детлавса»	167
Газетная публикация	
Давид Зильберман (<i>М. Вестерман</i>)	171



Сохрани мои письма...: Сборник писем евреев периода Великой Отечественной войны. Выпуск 2 / Сост.: И.А. Альтман, Л.А. Терушкин, И.В. Бродская; под ред. и с предисловием И.А. Альтмана. — М.: 2010



Побег из Собибора / Ричард Рашке [пер. с англ. А. Свердлова] — М.: 2010

Готовится к печати

В ближайшее время мы планируем издать и переиздать следующие книги, подготовленные Д. Зильберманом и Российским Научно-просветительным Центром «Холокост»:

Зильберман Д. **Подобно звезде во мраке.** О подвиге Праведника народов мира Яниса (Жаниса) Липке, спасшего более 50 рижских евреев.

Воспоминания Усатинской Ф.О., подростком пережившей Холокост в Молдавии.

Штейнер Ж.-Ф. **Треблинка.** Пер. А. Свердлова.

Феферман К.М. **Холокост в Крыму и на Северном Кавказе.** По материалам докторской диссертации, защищенной в Еврейском Университете Иерусалима в 2008 г.

Мемуары Нагирнера О., офицера Красной Армии, участника боев в Крыму и на Кавказе в 1941—1943 гг.



Медалье Э. **Право на жизнь.** Воспоминания женщины, как и Фрида Михельсон, спасшейся во время уничтожения евреев Рижского гетто в Румбульском лесу в декабре 1941 г.



Зильберман Д. **И Ты это видел.** Сборник очерков, основанных на воспоминаниях свидетелей и очевидцев о Холокосте в Латвии и на Украине.